МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

М. И. ЦВЕТАЕВА



М. И. Цветаева

Дневниковая проза



Москва
Берлин
2016

УДК 82
ББК 83.3(2)6
Ц27

Цветаева, М. И.

Ц27 Дневниковая проза / М. И. Цветаева. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 191 с.

ISBN 978-5-4475-8706-2

Перед Вами, уважаемый читатель, дневниковая проза, принадлежащая перу одной из известнейших поэтесс XX века Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941 гг.). Это записи и выдержки из дневника, относящиеся к 1917–1919 гг. Написанная искренне, от сердца проза отражает события, происходящие в один из самых трагических периодов в истории нашей страны.

УДК 82
ББК 83.3(2)6

ISBN 978-5-4475-8706-2

ОКТЯБРЬ В ВАГОНЕ
(Записи тех дней)

Двое с половиной суток ни куска, ни глотка. (Горло сжато.) Солдаты приносят газеты – на розовой бумаге. Кремль и все памятники взорваны. 56-ой полк. Взорваны здания с юнкерами и офицерами, отказавшимися сдаться. 16 000 убитых. На следующей станции – уже 25 000. Молчу. Курю. Спутники, один за другим, садятся в обратные поезда.

Сон (2-е ноября 1917 г., в ночь).

Спасаемся. Из подвала человек с винтовкой. Пустой рукой целюсь. – Опускает. – Солнечный день. Влезаем на какие-то обломки. С<ережа> говорит о Владивостоке. Едем в экипаже по развалинам. Человек с серной кислотой.

ПИСЬМО В ТЕТРАДКУ

Если Вы живы, если мне суждено еще раз с Вами увидеться – слушайте: вчера, подъезжая к Харькову, прочла «Южный Край». 9000 убитых. Я не могу Вам рассказать этой ночи, потому что она не кончилась. Сейчас серое утро. Я в коридоре. Поймите! Я еду и пишу Вам и не знаю сейчас – но тут следуют слова, которых я не могу написать.

Подъезжаем к Орлу. Я боюсь писать Вам, как мне хочется, потому что расплачусь. Все это страшный сон. Стараюсь спать. Я не знаю, как Вам писать. Когда я Вам пишу. Вы – есть, раз я Вам пишу! А потом – ах! – 56 запасной полк. Кремль. (Помните те огромные ключи, которыми Вы на ночь запирали ворота?) А главное, главное, главное – Вы, Вы сам. Вы с Вашим инстинктом самоистребления. Разве Вы можете сидеть дома? Если бы все остались. Вы бы один пошли. Потому что Вы безупречны. Потому что Вы не можете, чтобы убивали других. Потому что Вы лев, отдающий львиную

долю: жизнь – всем другим, зайцам и лисам. Потому что Вы беззаветны и самоохраной брезгуете, потому что «я» для Вас не важно, потому что я все это с первого часа знала!

Если Бог сделает это чудо – оставит Вас в живых, я буду ходить за Вами как собака.

Известия неопределенны, не знаю, чему верить. Читаю про Кремль, Тверскую, Арбат, «Метрополь», Вознесенскую площадь, про горы трупов. В с<оциал>р<еволюционной> газете «Курская Жизнь» от вчерашнего дня (1-го) – что началось разоружение. Другие (сегодняшние) пишут о бое. Я сейчас не даю себе воли писать, но тысячи раз видела, как я вхожу в дом. Можно ли будет проникнуть в город?

Скоро Орел. Сейчас около 2 часов дня. В Москве будем в 2 часа ночи. А если я войду в дом – и никого нет, ни души? Где мне искать Вас? Может быть, и дома уже нет? У меня все время чувство: это страшный сон. Я все жду, что вот-вот что-то случится, и не было ни газет, ничего. Что это мне снится, что я проснусь.

Горло сжато, точно пальцами. Все время оттягиваю, растягиваю ворот. Сереженька.

Я написала Ваше имя и не могу писать дальше.

Трое суток – ни с кем ни звука. Только с солдатами, купить газет. (Страшные розовые листки, зловещие. Театральные афиши смерти. Нет, Москва окрасила! Говорят, нет бумаги. Была, да вся вышла. Кому – так, кому – знак.)

Кто-то, наконец: «Да что с вами, барышня? Вы за всю дорогу куска хлеба не съели, с самой Лозовой с вами еду. Все смотрю и думаю: когда же наша барышня кушать начнут? Думаю, за хлебом, нет – опять в книжку писать. Вы что ж, к экзамену какому?»

Я, смутно: «Да».

Говорящий – мастеровой, черный, глаза, как угли, чернобородый, что-то от ласкового Пугачева. Жутковат и приятен. Беседуем. Жалуется на сыновей: «Новой жизнью заболели, коростой этой. Вы, барышня, человек молодой, пожалуй и осудите, а по мне – вот все́ эти отребья красные да свободы похабные – не что иное будет, как сомущение Антихристово. Князь он и власть великую имеет, только ждал до поры до часу, силу копил. Приедешь в деревню, – жизнь-то серая, баба-то сивая. „Черт, шут“… Гляди, кочерыжками закидает. А какой он тебе шут, когда он князь рожденный, свет сотворенный. На него не с кочерыжками надо, а с легионами ангельскими»…

Подсаживается толстый военный: круглое лицо, усы, лет пятьдесят, пошловат, фатоват. – «У меня сын в 56-ом полку! Ужасно беспокоюсь. Вдруг, думаю, нелегкая понесла». (Почему-то сразу успокаиваюсь)… «Впрочем, он у меня не дурак: охота самому в пекло лезть!» (Успокоение мгновенно проходит)… «Он по специальности инженер, а мосты, знаете ли, все равно для кого строить: царю ли, республике ли, – лишь бы выдержали!»

Я, не выдерживая: «А у меня муж в 56-ом». – «Му-уж? Вы замужем? Скажите! Никогда бы не подумал! Я думал барышня, гимназию кончаете. Стало быть, в 56-ом? Вы, верно, тоже очень беспокоитесь?» – «Не знаю, как доеду». – «Доедете! И свидитесь! Да помилуйте, имея такую жену – идти под пули! Ваш супруг себе не враг! Он, верно, тоже очень молод?» – «Двадцать три», – «Ну, видите! А вы еще волнуетесь! Да будь мне двадцать три года и имей я такую жену… Да я и в свои пятьдесят три года и имея вовсе не такую жену»… (Я, мысленно: «в том-то и дело!» Но почему-то, все-таки, явно сознавая бессмысленность, успокаиваюсь.)

Сговариваемся с мастеровым ехать с вокзала вместе. И хотя нам вовсе не по дороге: ему на Таганку, мне на Поварскую, продолжаю на этом строить: отсрочку следующего получаса. (Через полчаса Москва.) Мастеровой – оплот, и почему-то мне чудится, что он все знает, больше – что он сам из князевой рати (недаром Пугачев!) и именно оттого, что враг меня (С<ережу>) спасет. – Уже спас. – И что нарочно сел в этот вагон – оградить и обнадежить – и Лозовая ни при чем, мог бы просто в окне появиться, на полном ходу, среди степи. И что сейчас в Москве на вокзале рассыпется в прах.

Десять минут до Москвы. Уже чуть-чуть светлеет, – или просто небо? Глаза к темноте привыкли? Боюсь дороги, часа на извозчике, надвигающегося дома (смерти, ибо – если убит, умру). Боюсь услышать.

Москва. Черно. В город можно с пропуском. У меня есть, совсем другой, но все равно. (На обратный проезд в Феодосию: жена прапорщика.) Беру извозчика. Мастеровой, конечно, канул. Еду. Извозчик рассказывает, я отсутствую, мостовая подбрасывает. Три раза подходят люди с фонарями. – Пропуск! – Протягиваю. Отдают не глядя. Первый звон. Около половины шестого. Чуть светлеет. (Или кажется?) Пустые улицы, пустующие. Дороги не узнаю, не знаю (везет объездом), чувство, что все время влево, как иногда мысль, в мозгу. Куда-то сквозь, и почему-то пахнет сеном. (А может быть, я думаю, что это – Сенная, и потому – сено?) Заставы чуть громыхают: кто-то не сдается.

Ни разу – о детях. Если С<ережи> нет, нет и меня, значит, нет и их. Аля без меня жить не будет, не захочет, не сможет. Как я без С<ережи>.

Церковь Бориса и Глеба. Наша, Поварская.[1] Сворачиваем в переулок – наш, Борисоглебский. Белый дом Епархиального училища, я его всегда называла «volière»: сквозная галерея и детские голоса. А налево тот, зеленый, старинный, навытяжку (градоначальник жил и городовые стояли). И еще один. И наш.

Крыльцо против двух деревьев. Схожу. Снимаю вещи. Отделившись от ворот, двое в полувоенном. Подходят. «Мы домовая охрана. Что вам угодно?» – «Я такая-то и здесь живу», – «Никого по ночам пускать не ведено». – «Тогда позовите, пожалуйста, прислугу. Из третьей квартиры». (Мысль: сейчас, сейчас, сейчас скажут. Они здесь живут и все знают.)

«Мы вам не слуги». – «Я заплачу́».

Идут. Жду. Не живу. Ноги, на которых стою, руки, которыми держу чемоданы (так и не спустила). И сердца не слышу. Если б не оклик извозчика, и не поняла бы, что долго, что чудовищно-долго.

– Да что ж, барышня, отпу́стите или нет? Мне еще на Покровскую надо.

– Прибавлю.

Тихий ужас, что, вот, уедет: в нем моя последняя жизнь, последняя жизнь до… Однако, спустив вещи, раскрываю сумку: три, десять, двенадцать, семнадцать… нужно пятьдесят… Где же возьму, если…

Шаг. Звук сначала одной двери, потом другой. Сейчас откроется входная. Женщина, в платке, незнакомая.

Я, не давая сказать:

– Вы новая прислуга?

– Да.

– Барин убит?

---

[1] Есть еще на Арбатской площади (примеч. М. Цветаевой).

– Жив.

– Ранен?

– Нет.

– То есть как? Где же он был все время?

– А в Александровском, с юнкерями, – уж мы страху натерпелись! Слава Богу, Господь помиловал. Только отощали очень. И сейчас они в N-ском переулке, у знакомых. И детки там, и сестры бариновы… Все здоровы, благополучны, только вас ждут.

– У вас найдется 33 рубля, извозчику доплатить?

– А как же, как же, вот сейчас только вещи внесем.

Вносим вещи, отпускаем извозчика, Дуня берется меня проводить. Захватываю с собой один из двух крымских хлебов. Идем. Битая Поварская. Булыжники. Рытвины. Небо чуть светлеет. Колокола.

Заворачиваем в переулок. Семиэтажный дом. Звоню. Двое в шубах и шапках. При чиркающей спичке – блеск пенсне. Спичка прямо в лицо:

– Что вам нужно?

– Я только что из Крыма и хочу к своим.

– Да ведь это неслыханно, в 6 часов утра в дом врываться!

– Я хочу к своим.

– Успеете. Вот заходите к 9-ти часам, тогда посмотрим.

Тут вступается прислуга:

– Да что вы, господа, у них дети маленькие. Бог знает сколько не виделись. И я их очень хорошо знаю, оне личность вполне благонадежная, свой дом на Полянке.

– А все-таки мы вас впустить не можем.

Тут я, не выдерживая:

– А вы – кто́?

– Мы домовая охрана.

– А я такая-то, жена своего мужа и мать своих детей. Пустите, я все равно войду.

И, наполовину пропущенная, наполовину прорвавшись – шести площадок как не бывала – седьмая.

(Так это у меня и осталось, первое видение буржуазии в Революции: уши, прячущиеся в шапках, души, прячущиеся в шубах, головы, прячущиеся в шеях, глаза, прячущиеся в стеклах. Ослепительное – при вспыхивающей спичке – видение шкуры.)

Снизу голос прислуги: «Счастливо свидеться!» Стучу. Открывают.

– Сережа спит? Где его комната? И, через секунду, с порога:

– Сережа! Это я! Только что приехала. У вас внизу – ужасные мерзавцы. А юнкера все-таки победили! Да есть ли Вы здесь или нет?

В комнате темно. И, удостоверившись:

– Ехала три дня. Привезла Вам хлеб. Простите, что черствый. Матросы – ужасные мерзавцы! Познакомилась с Пугачевым. Сереженька, Вы живы – и…

В вечер того же дня уезжаем: С<ережа>, его друг Г<оль>цев и я, в Крым.

КУСОЧЕК КРЫМА

Приезд в бешеную снеговую бурю в Коктебель. Седое море. Огромная, почти физически жгущая радость Макса В<олошина> при виде живого Сережи. Огромные белые хлеба.

Видение Макса В<олошина> на приступочке башни, с Тэном на коленях, жарящего лук. И пока лук жарится, чтение вслух, С<ереже> и мне завтрашних и послезавтрашних судеб России. – А теперь, Сережа, будет то-то… Запомни. И вкрадчиво, почти радуясь, как добрый колдун детям, картинку за картинкой – всю русскую Революцию на пять лет вперед: террор, гражданская война, расстрелы, заставы, Вандея, озверение, потеря лика, раскрепощенные духи стихий, кровь, кровь, кровь…

С Г<оль>цевым за хлебом.

Кофейня в Отузах. На стенах большевицкие воззвания. У столов длиннобородые татары. Как медленно пьют, как скупо говорят, как важно движутся. Для них время остановилось. XVII в. – XX в. И чашечки те же, синие, с каббалистическими знаками, без ручек. Большевизм? Марксизм?

Афиши, все горло прокричите! Какое нам дело до ваших машин, Лениных, Троцких, до ваших пролетариатов новорожденных, до ваших буржуазии разлагающихся… У нас ураза́, мулла, виноград, смутная память о какой-то великой царице… Вот эта кипящая смоль на дне золоченых чашечек…

Мы – вне, мы – над, мы давно. Вам – быть, мы – прошли. Мы – раз навсегда. Нас – нету.

Лунные сумерки. Мечеть. Возвращение коз. Девочка в малиновой, до полу, юбке. Кисеты. Старуха, выточенная, как кость. Изваянность древних рас.

В вагоне (обратный путь в Москву, 25-го ноября).

– Брешко-Брешковская – тоже сволочь! Сказала: надо воевать вам!

– Сгубить больше бедного классу и самим опять блаженствовать!

– Бедная матушка-Москва, весь фронт одевает-обувает! Мы Москвой не обижены! Больше все газеты смущают. Большевики правильно говорят, не хотят кровь проливать, смотрят за делом.

В вагонном воздухе – топором – три слова: буржуи́, юнкеря, кровососы.

– Чтоб им торговля была лучше!

– У нас молодая революция, а у них, во Франции, старая, лежалая.

– Что крестьянин, что князь – шкура одинакая! (Я, мысленно: шкура-то именно и нет!)

– А офицер, товарищи, первый подлец. Я считаю: он самого низкого образования.

Против меня, на лавке, спит унылый, тощий, благоразумный Викжель.

Бог, товарищи, первый революционер!

Вы москвичка, вероятно? У нас на юге таких типов нет! (Прапорщик из Керчи.)

Спор о табаке.

«Барышня, а курят! Оно, конешно, все люди равны, только все же барышне курить не годится. И голос от того табаку грубеет, и запах изо рта мужской. Барышне конфетки надо сосать, духами прыскаться, чтоб дух нежный шел. А то кавалер с любезностями – прыг, а вы на него тем мужским духом – пых!

Мужеский пол мужского духа теперь не выносит. Как вы полагаете, а, барышня?»

Я: «Конечно, вы правы: привычка дурная!»

Другой солдат: «А я, то есть, товарищи, полагаю: женский пол тут ни при чем. Ведь в глотку тянешь, – а глотка у всех одинакая. Что табак, что хлеб. А кавалеры любить не будут, оно, может, и лучше, мало ли нашего брата зря хвостячит. Лю – бовь! Кобеля, а не любовь! А полюбит кто – за душу, со всяким духом примет, даже сам крутить будет. Правильно говорю, а, барышня?»

Я: «Правильно, – мне муж всегда папиросы крутит. А сам не курит». (Вру.)

Мой защитник – другому: «Так они и не барышни вовсе! Вот, братец, маху дали! А что же у вас муж из студентов, что ль?»

Я, памятуя предостережения: «Нет, вообще так…»

Другой, поясняя: «Своим капиталом, значит, живут».

Мой защитник: «К нему, стало быть, едете?»

Я: «Нет, за детьми, он в Крыму остался».

– «Что ж, дача там своя в Крыму?»

Я, спокойно: «Да, и дом в Москве». (Дачу выдумала.)

– Молчание. –

Мой защитник: «А смелая вы, погляжу, мадамочка! Да разве теперь в эдаких вещах признаются? Да теперь кажный рад не только дом, что ли, деньги – себя собственными руками со страху в землю закопать!»

Я: «Зачем самому? Придет время – другие закопают. А впрочем, это и раньше было: самозакапыватели: сами себя живьем в землю закапывали – для спасения души. А теперь для спасения тела».

– Смеются, смеюсь и я. –

Мой защитник: «А что ж, супруг-то ваш, не с простым народом, чай?»

Я: «Нет, он со всем народом».

– «Что-то не пойму».

Я: «Как Христос велел: ни бедного, мол, ни богатого: человеческая и во всех Христос».

Мой защитник, радостно: «То-то и оно! Неповинен ты в княжестве своем и неповинен ты в низости своей»… (с некоторым подозрением:)… «А вы, барышня, не большевичка будете?»

Другой: «Какая большевичка, когда у них дом свой!»

Первый: «Ты не скажи, много промеж них образованного классу, – и дворяне тоже, и купцы. В большевики-то все больше господа идут». (Вглядываясь, неуверенно:) «И волоса стриженые».

Я: «Это теперь мода такая».[2]

Внезапно ввязывается, верней – взрывается – матрос:

«И все это вы, товарищи, неверно рассуждаете, бессознательный элемент. Эти-то образованные, да дворяне, да юнкеря проклятые всю Москву кровью залили! Кровососы!

---

[2] Мода пришла позже. Для России с сыпняком, т. е. в 19 г. – 20 г., для Запада, ух не знаю с чего и с чем, в 23 г. – 24 г. (примеч. М. Цветаевой).

Сволочь!» (Ко мне:) «А вам, товарищ, совет: поменьше о Христах да дачах в Крыму вспоминать. Это время прошло».

Мой защитник, испуганно: «Да они по молодости… Да какие у них дачи, – так, должно, хибарка какая на трех ногах, вроде как у меня в деревне… (Примиряюще:) – Вот и полсапожки плохонькие»…

Об этом матросе. Непрерывная матерщина. Другие (большевик!) молчат. Я, наконец, кротко: «Почему вы так ругаетесь? Неужели вам самому приятно?»

Матрос: «А я, товарищ, не ругаюсь, – это у меня поговорка такая».

Солдаты грохочут.

Я, созерцательно: «Плохая поговорка».

Этот же матрос, у открытого окна в Орле, нежнейшим голосом: «Воздушок какой!»

Аля (4 года). – Марина, знаешь, у Пушкина не так сказано! У него сказано:

Пушки с пристани палят,
Кораблям пристать велят.

А надо:

Пушки – из дому палят!
(После восстания)

Молитва Али во время и с времен восстания:

«Спаси, Господи, и помилуй: Марину, Сережу, Ирину, Любу, Асю, Андрюшу, офицеров и не-офицеров, русских и не-русских, французских и не-французских, раненых и не-раненых, здоровых и не-здоровых. – всех знакомых и не-знакомых».

Москва, октябрь – ноябрь 1917

ВОЛЬНЫЙ ПРОЕЗД

Пречистенка, Институт Кавалерственной Дамы Чертóвой, ныне Отдел Изобразительных Искусств.

Клянусь Стиксом, что живи я полтораста лет назад, я непременно была бы Кавалерственной Дамой! (Нахожусь здесь за пропуском в Тамбовскую губ<ернию> «для изучения кустарных вышивок» – за пшеном. Вольный проезд (провоз) в $1^{1}/_{2}$ пуда.)

Дорога на ст<анцию> Усмань, Тамбовской губ<ернии>.

Посадка в Москве. В последнюю минуту – точно ад разверзся: лязг, визг. Я: «Что это?» Мужик, грубо: «Молчите! Молчите! Видно, еще не ездили!» Баба: «Помилуй нас. Господи!» Страх, как перед опричниками, весь вагон – как гроб. И, действительно, минуту спустя нас всех, несмотря на билеты и разрешения, выбрасывают. Оказывается, вагон понадобился красноармейцам.

В последнюю секунду N, его друг, теща и я, благодаря моей командировке, все-таки попадаем обратно.

Трагически начинаю уяснять себе, что едем мы на реквизиционный пункт и… почти что в роли реквизирующих. У тещи сын-красноармеец в реквизиционном отряде. Сулят всякие блага (до свиного сала включительно). Грозят всякими бедами (до смертоубийства включительно). Мужики озлоблены, бывает, что поджигают вагоны. Теща утешает:

– Уж три раза ездила, – Бог миловал. И белой пуда-ами! А что мужики злобятся – понятное дело… Кто же своему добру враг? Ведь грабят, грабят вчистую! Я и то уж своему Кольке говорю: «Да побойся ты Бога! Ты сам-то, хотя и не из дворянской семьи, а все ж и достаток был, и почтенность. Как же это

так – человека по миру пускать? Ну, захватил такую великую власть – ничего не говорю – пользуйся, владей на здоровье! Такая уж твоя звезда счастливая. Потому что, барышня, у каждого своя планида. Ах, Вы и не барышня? Ну, пропало мое дело! Я ведь и сватовством промышляю. Такого бы женишка просватала! А муж-то где? Без вести? И детей двое? Плохо, плохо!»

Так я сыну-то: «Бери за полцены, чтоб и тебе не досадно, и ему не обидно. А то что ж это, вроде разбоя на большой дороге. Пра-аво! Оно, барышня, понятно… (что это я все „барышня“, – положение-то ваше хуже вдовьего! Ни мужу не жена, ни другу не княжна!)… оно, барынька, понятно: парень молодой, время малиновое, когда и тешиться, коли не сейчас? Не возьмет он этого в толк, что в лоск обирать – себя разорять! И корову доить – разум надо. Жми да не выжимай. Да-а…

А уж почет-то мне там у него на пункте – ей-Богу, что вдовствующей Императрице какой! Один того несет, другой того гребет. Колька-то мой с начальником отряда хорош, одноклассники, оба из реалки из четвертого классу вышли: Колька – в контору, а тот просто загулял. Товарищи, значит. А вот перемена-то эта сделалась, со дна всплыл, пузырек вверх пошел. И Кольку моего к себе вытребовал. Сахару-то! Сала-то! Яиц! В молоке – только что не купаются! Четвертый раз езжу».

Из вагонных разговоров:

– И будет это так идти, пока не останется: из тысячи – Муж, из тьмы – Жена.

А есть, товарищи, в Москве церковь – «Великаго Совета Ангел».

Ночной спор о Боге. Ненависть солдат к иконам и любовь к Богу, – «Зачем доску целовать? Коли хочешь молиться, молись один!»

Солдат – офицеру (типа бывшего лицеиста, пробор, картавит): «А Вы, товарищ, какой веры придерживаетесь?»

Из темноты – ответ: «Я спирит социалистической партии».

Станция Усмань. 12-й час ночи.

Приезд. Чайная. Ломящиеся столы. Наганы, пулеметные ленты, сплошная кожаная упряжь. Веселы, угощают. Мы, чествуемые, все без сапог, – идя со станции чуть не потонули. Для тещи, впрочем, нашлись хозяйкины полусапожки.

Хозяйки: две ехидных перепуганных старухи. Раболепство и ненависть. Одна из них – мне: «Вы что же – ихняя знакомка будете?» (Подмигивая на тещина сына). Сын: чичиковское лицо, васильковые свиные прорези глаз. Кожу под волосами чувствуешь ярко-розовой. Смесь голландского сыра и ветчины. С матерью нагло-церемонен: «Мамаша»… «Вы» – и: «Ну вас совсем – ко всем!»…

Я, слава Богу, незаметна. Теща, представляя, смутно оговорилась: «с их родными еще в прежние времена знакомство водила»… (Оказывается, она лет пятнадцать назад шила на жену моего дяди. «Собственная мастерская была… Четырех мастериц держала… Все честь честью… Да вот – муж подкузьмил: умер!»). Словом, меня нет, – я: при…

Напившись-наевшись, наши два спутника, вместе с другими, уходят спать в вагон. Мы с тещей (тещей она приходится приятелю N, собственно и сбившего меня на эту поездку) – мы с тещей укладываемся на полу: она на хозяйкиных подушках и перинах, я просто.

Просыпаюсь от сильного удара. Голос свахи: «Что такое?» – Второй сапог. – Вскакиваю. Полная тьма. Все усиливающийся топот ног, хохот, ругань. Звонкий голос из темноты: «Не беспокойтесь, мамаша, это реквизиционный отряд с обыском пришел!»

Чирканье спички.

Крики, плач, звон золота, простоволосые старухи, вспоротые перины, штыки… Рыщут всюду.

– Да за иконами-то хорошенько! За святыми-то! Боги золото тоже любят-то!

– Да мы… Да нешто у нас… Сынок! Отец! Отцом будь!

– Молчать, старая стерва!

Пляшет огарок. Огромные – на стене – тени красноармейцев.

(Оказывается, хозяйки чайной давно были на примете. Сын только ждал приезда матери: нечто вроде маневров флота или парада войск в честь Вдовствующей Императрицы.)

Обыск длится до свету: который раз ни просыпаюсь – все то же. Утром, садясь за чай, трезвая мысль: «А могут отравить. Очень просто. Подсыплют чего-нибудь в чай, и дело с концом. Что им терять? „Царские“ взяты – все потеряно. А расстреляют – все равно помирать!»

И, окончательно убедившись, пью.

В то же утро съезжаем. Мысль эта пришла не мне одной.

Опричники: еврей со слитком золота на шее, еврей – семьянин («если есть Бог, он мне не мешает, если нет – тоже не мешает»), «грузин» с Триумфальной площади, в красной черкеске, за гривенник зарежет мать.

Мои два спутника уехали в бывшее имение кн. Вяземского: пруды, сады… (Знаменитая, по зверскости, расправа).

Уехали – не взяли. Остаюсь одна с тещей и с собственной душой. Не помогут ни та, ни другая. Первая уже остывает ко мне, вторая (во мне) уже закипает.

С чайником за кипятком на станцию. Двенадцатилетний, одного из реквизирующих офицеров, «адъютант». Круглое лицо, голубые дерзкие глаза, на белых, бараном, кудрях – лихо заломленная фуражка. Смесь амура и хама.

Хозяйка (жена того опричника со слитком) – маленькая (мизгирь!) наичернющая евреечка, «обожающая» золотые вещи и шелковые материи.

– Это у вас платиновые кольца?

– Нет, серебряные.

– Так зачем же вы носите?

– Люблю.

– А золотых у вас нет?

– Нет, есть, но я вообще не люблю золота: грубо, явно…

Ах, что вы говорите! Золото, это ведь самый благородный металл. Всякая война, мне Иося говорил, ведется из-за золота.

(Я, мысленно: «Как и всякая революция!»)

– А позвольте узнать, ваши золотые вещи с вами? Может быть, уступите что-нибудь? О, вы не волнуйтесь, я Иосе не передам, это будет маленькое женское дело между нами! Наш маленький секрет! (Блудливо хихикает). – Мы могли бы

устроить в некотором роде Austausch.[3] (Понижая голос): – Ведь у меня хорошенькие запасы… Я Иосе тоже не всегда говорю!.. Если вам нужно свиное сало, например, – можно свиное сало, если совсем белую муку – можно совсем белую муку.

Я, робко:

– Но у меня ничего с собой нет. Две пустых корзинки для пшена… И десять аршин розового ситцу…

Она, почти дерзко:

– А где же вы свои золотые вещи оставили? Разве можно золотые вещи оставлять, а самой уезжать?..

Я, раздельно:

– Я не только золотые вещи оставила, но… детей!

Она, рассмешенная:

– Ах! Ах! Ах! Какая вы забавная! Да разве дети, это такой товар? Все теперь своих детей оставляют, пристраивают. Какие же дети, когда кушать нечего? (Сентенциозно): – Для детей есть приюты. Дети, это собственность нашей социалистической Коммуны…

(Я, мысленно: «Как и наши золотые кольца»…)

Убедившись в моей золотой несостоятельности, захлебываясь, рассказывает. Раньше – владелица трикотажной мастерской в «Петрограде».

– Ах, у нас была квартирка! Конфетка, а не квартирка! Три комнаты и кухня, и еще чуланчик для прислуги. Я никогда не позволяла служанке спать в кухне, – это нечистоплотно, могут волосы упасть в кастрюлю. Одна комнатка была спальня, другая столовая, а третья, небесного цвета – приемная. У меня ведь были очень важные заказчицы, я весь лучший Петроград своими жакетками одевала… О, мы очень хорошо

[3] Обмен (*нем.*).

зарабатывали, каждое воскресенье принимали гостей: и вино, и лучшие продукты, и цветы… У Иоси был целый курильный прибор: такой столик филигранной работы, кавказский, со всякими трубками, и штучками, и пепельницами, и спичечницами… По случаю у одного фабриканта купили… И в карты у нас играли, уверяю вас, на совсем не шуточные суммы…

И все это пришлось оставить: обстановку мы распродали, кое-что припрятали… Конечно, Иося прав, народ не может больше томиться в оковах буржуазии, но все-таки, имев такую квартиру…

– Но что же вы здесь делаете, когда дождь, когда все ваши на реквизиции? Читаете?

– Да-а…

– А что вы читаете?

– «Капитал» Маркса, мне муж романов не дает.

С<танция> Усмань Тамбовской губ<ернии>, где я никогда не была и не буду. Тридцать верст пешком по стриженому полю, чтобы выменять ситец (розовый) на крупу.

Крестьяне.

Шестьдесят изб – одна порубка: «Нет, нет, ничего нету, и продавать – не продаем и менять – не меняем. Что было – то товарищи отобрали. Дай Бог самим живу остаться».

– Да я же не даром беру и не советскими платить буду. У меня спички, мыло, ситец…

Ситец! Магическое слово! Первая (после змея!) страсть праматери Евы! Загорание глаз, прояснение лбов, тяготение рук. Даже прабабки не отстают, брызги беззубых уст: «ситчику бы! на саван!»

И вот я, в удушающем кольце: бабок, прабабок, девок, молодок, подружек, внучек, на коленях перед корзинкой – роюсь. Корзинка крохотная, – я вся налицо.

– А мыло духовитое? А простого не будет? А спички почем? А ситец-то ноский будет? Манька, а Манька, тебе бы на кофту! А сколько аршин говоришь? Де-сять! И восьми-то нету!

Щупанье, нюханье, дерганье, глаженье, того и гляди – на зуб возьмут.

И вдруг, одна прорывается:

– Цвет-то! Цвет-то! Аккурат как Катька на прошлой неделе на юбку брала. Тоже одна из Москвы продавала. Ластик – а как шелк! Таковыми сборочками складными… Маманька, а маманька, взять, что ль? Почем, купчиха, за аршин кладешь?

– Я на деньги не продаю.

– Не продае-ешь? Как ж эт так – не продаешь?

– А так, вы же сами знаете, что деньги ничего не стоют.

– Да рази мы знаем? Наша жизнь темная. Вот тоже одна приезжая рассказывала: будто в Москве-то у вас даже очень хорошо идут.

– Поезжайте – увидите.

(Молчание. Косвенные взгляды на ситец. Вздохи).

– Чего ж тебе надо-то?

– Пшена, сала.

– Са-ала? Нет, сала у нас не будет. Какое у нас сало! Сами все всухомятку жрем. Вот медку не хочешь ли?

(Молниеносное видение себя, залитой протекшим медом, и от этого видения – почт? гнев!)

– Нет, я хочу сала – или пшена.

– А почем, коли пшеном, за ситец кладешь-то? (Кстати, вовсе не ситец, а кровный редкостный карточный розовый ластик).

Я, сразу робея: 1/2 пуда (Учили – три!)

– Пол-пу-уда? Такой и цены нет. Что ж ситец-то у тебя шелковый, что ли? Только и красоты, что цвет. Посмотри, как выстирается, весь водой сойдет.

– Сколько же вы даете?

– Твой товар – твоя цена.

– Я же сказала: полпуда.

Отлив. Шепота…

Разглядываю избу: все коричневое, точно бронзовое: потолки, полы, лавки, котлы, столы. Ничего лишнего, все вечное. Скамьи точно в стену вросли, вернее – точно из них выросли. А ведь и лица в лад: коричневые! И янтарь нашейный! И сами шеи! И на всей этой коричневизне – последняя синь позднего бабьего лета. (Жестокое слово!)

Шепота затягиваются, терпение натягивается – и лопается. Встаю – и, сухо:

– Что ж, берете или не берете?

– Вот, коли деньгами бы – тогда б еще можно. А то сама посуди, какой наш достаток?

Сгребаю свой (три куска мыла, пачка спичек, десять аршин сатину), затыкаю палочкой корзинку.

В дверях: «Счастливо!»

Двадцать шагов. Босые ноги вдогон.

– Купчиха, а купчиха?

Не останавливаясь:

– Ну?

– Хочешь семь хвунтов?

– Нет.

И дальше, пропустив от ярости пять изб, – в шестую.

Бывает и по-другому: сговорились, отсыпано, выложено и – в последнюю секунду: «А Бог тебя знает, откудова ты. Еще беды с тобой наживешь! И волоса стриженые… Иди себе подобру да поздорову… И ситца твоего не нужно»…

А бывает и так еще:

– Ты, вишь, московка, невнятная тебе наша жизнь. Думаешь, нам все даром дается? Да вот это-то пшано, что оно на нас – дождем с неба падает? Поживи в деревне, поработай нашу работу, тогда узнаешь. Вы, москвичи, счастливее, вам все от начальства идет. Ситец-то, чай, тоже даровой?

…Подари-ка нам коробок спиц, чтобы чем тебя, пришлую, помянуть было.

И даю, конечно. Из высокомерия, из брезгливости, так, как Христос не велел давать: прямой дорогой в ад – даю!

За возглас: «курочки ня нясутся!» готова передушить не только всех их кур, но их самих – всех! – до десятого колена. (Другого ответа не слышу).

Базар. Юбки – поросята – тыквы – петухи. Примиряющая и очаровывающая красота женских лиц. Все черноглазы и все в ожерельях.

Покупаю три деревянных игрушечных бабы, вцепляюсь в какую-то живую бабу, торгую у нее нашейный темный, колесами, янтарь, и ухожу с ней с базару – ни с чем. Дорогой узнаю, что она «на Казанской погуляла с солдатом» – и вот… Ждет, конечно. Как вся Россия, впрочем.

Дома. Возмущение хозяйки янтарем. Мое одиночество. На станцию за кипятком, девки: – «Барышня янтарь надела! Страм-то! Страм!»

Мытье пола у хамки.

– Еще лужу подотрите! Повесьте шляпку! Да вы не так! По половицам надо! Разве в Москве у вас другая манера? А я, знаете, совсем не могу мыть пола, – знаете: поясница болит! Вы наверное с детства привыкли?

Молча глотаю слезы.

Вечером из-под меня выдергивают стул, ем свои два яйца без хлеба (на реквизиционном пункте, в Тамбовской губ<ернии>!)

Пишу при луне (черная тень от карандаша и руки). Вокруг луны огромный круг. Пыхтит паровоз. Ветви. Ветер.

Господа! Все мои друзья в Москве и везде! Вы слишком думаете о своей жизни! У вас нет времени подумать о моей, – а стоило бы.

Теща: бывшая портниха, разудалая речистая замоскворецкая сваха («муж подкузьмил – умер!»). Хам, коммунист с золотым слитком на шее; мещанка-евреечка, бывшая владелица трикотажной мастерской; шайка воров в черкесках; подозрительные угрюмые мужики, чужой хлеб (продавать здесь на деньги – не хватит и коммунистической совести!)

Всячески пария: для хамки – «бедная» (грошовые чулки, нет бриллиантов), для хама – «буржуйка», для тещи – «бывшие люди», для красноармейцев – гордая стриженая барышня. Годнее всех (на 1000 верст отдаления!) бабы, с которыми у

меня одинаковое пристрастье к янтарю и пестрым юбкам – и одинаковая доброта: как колыбель.

«Господи! Убить того до смерти – у кого есть сахар и сало!» (Местная поговорка).

«Не было смирнее нашего города!» (Рассказ мужика по дороге в Усмань. – Не о всей ли России?)

Сегодня опричники для топки сломали телеграфный столб.

Хозяйка за чем-то наклоняется. Из-за пазухи выпадает стопка золота, золотые со звоном раскатываются по комнате.

Присутствующие, было – опустив, быстро отводят глаза.

С утра – на разбой. – «Ты, жена, сиди дома, вари кашу, а я к ней маслица привезу!..» – Как в сказке. – Часа в четыре сходятся. У наших Капланов нечто вроде столовой. (Хозяйка: «И им удобно, и нам с Иосей полезно». «Продукты» – вольные, обеды – платные.) Вина что-то незаметно. Сало, золото, сукно, сукно, сало, золото. Приходят усталые: красные, бледные, потные, злые. Мы с хозяйкой мигом бросаемся накрывать. Суп с петухом, каша, блины, яичница. Едят сначала молча. Под лаской сала и масла лбы разглаживаются, глаза увлажняются. После грабежа – дележ: впечатлениями. (Вещественный дележ производится на месте.) Купцы, попы, деревенские кулаки… У того столько-то холста… У того кадушка топленого… У того царскими тысячу… А иной раз – просто петуха…

Рузман (семьянин) добродушен. Обнаруживая какой-нибудь запретный (запрятанный) плод, вроде куля муки, сам первый сочувствует:

– Ай-ай-ай! И семейство большое! Нельзя же, в самом деле, семь собственных детей, жену, бабушку и дедушку одним чистым воздухом питать!

Есть в нем и ценитель: так, хитро-скрытое и долго-сопротивлявшееся вызывает в нем любование.

– Такой плут этот Микишкин, такой плут! Ему бы только ликвидацией банков заведовать! И куда он это, вы думаете, он свои николаевские забальзамировал?!

Полегонечку (восьмой день!) вхожу, вживаюсь, уже делю (лирически!) триумфы и беды, уже хозяйка, обеспокоенная долгим отсутствием мужа – мне: «Что же это наш Иося нам изменяет?»

Я по самой середине сказки, mitten drinnen.[4] Разбойник, разбойникова жена – и я, разбойниковой жены – служанка. Конечно, может статься – выхвачу топор… А скорей всего, благополучно растряся свои 18 ф<унтов> пшена по 80-ти заградительным отрядам, весело ворвусь в свою борисоглебскую кухню и тут же – без отдыши – выдышусь стихом!

Зовут на реквизицию. (Так герцоги, в былые времена, приглашали на охоту!)

– Бросьте вы свои спички!.. (Сколько у вас осталось коробочек? Как – целых три даром отдали? Ах, ах, ах, какая непрактичная!) Едемте с нами, без спичек целый вагон муки привезете. Вам своими руками ничего делать не придется – даю вам честное слово коммуниста: даже самым маленьким пальчиком не пошевельнете!

[4] Изнутри (*нем.*).

И хозяйка, ревниво (не ко мне, конечно, а к мыслимым «продуктам»).

– Ах, Иося, разве это возможно! Кто же мне завтра посуду будет мыть, когда я на базар пойду за дрожжами!

(Единственный, в этой семье, покупной «продукт»).

Сколько перемытой посуды и уже дважды вымытый пол! Чувство, что я определенно обращена в рабство. Негодная теща, в тон хозяйке, третирует. От моих вероломных Тезеев (хорош – Наксос!) вот уже вторая неделя – ни слуху, ни духу.

У меня пока: 18 ф<унтов> пшена, 10 ф<унтов> муки, 3 ф<унта> свиного сала, янтарь и три куклы для Али. Грозят заградительными отрядами.

Разрываюсь от смеха и гнева. Вечер проходил как всегда. Входили, выходили, пошучивали, покуривали, обдумывали завтрашние набеги, подытоживали нынешние. Словом: мир. И вдруг: гром: Бог! Кто начал – не помню. Помню только свой голос:

– Господа, если его нет – за что же вы его так ненавидите?

– А кто вам сказал, что мы Господа Бога ненавидим?

– Или вы его слишком любите: вы неустанно о нем говорите.

– Говорим, потому, что многие в эти пустяки еще верят.

– Я первая! Дурой родилась, дурой помру. (Это теща прорвалась).

Левит, снисходительно:

– Вы, мадам, это вполне объяснимое явление, все наши мамаши и папаши веровали, но вот (пожатие плечей в мою сторону)… что товарищ в таком молодом возрасте и еще имев возможность пользоваться всеми культурными благами столицы…

Теща:

– Ну что ж, что из столицы? Вы думаете, у нас в Москве все нехристи, что ль? Да у нас в Москве церквей одних сорок сороков, да монастырей, да…

Левит:

– Это пережитки буржуазного строя. Ваши колокола мы перельем на памятники. Я: – Марксу.

Острый взгляд: – Вот именно.

Я: – И убиенному Урицкому. Я, кстати, знала его убийцу.

(Подскок. – Выдерживаю паузу).

…Как же, – вместе в песок играли: Каннегиссер Леонид.

– Поздравляю вас, товарищ, с такими играми!

Я, досказывая: – Еврей.

Левит, вскипая: – Ну, это к делу не относится!

Теща, не поняв: – Кого жиды убили?

Я: – Урицкого, начальника петербургской Чрезвычайки.

Теща: – И-ишь. А что, он тоже из жидов был?

Я: – Еврей. Из хорошей семьи.

Теща: – Ну, значит свои повздорили. Впрочем, это между жидами редкость, у них это, наоборот, один другого покрывает, кум обжегся – сват дует, ей-Богу!

Левит, ко мне: – Ну и что же, товарищ, дальше?

Я: – А дальше покушение на Ленина. Тоже еврейка (обращаясь к хозяину, любезно). – Ваша однофамилица: Каплан.

Левит, перехватывая ответ Каплана: – И что же вы этим хотите доказать?

Я: – Что евреи, как русские, разные бывают.

Левит, вскакивая: – Я, товарищ, не понимаю: или я не своими ушами слышу, или ваш язык не то произносит. Вы сейчас находитесь на реквизиционном пункте, станция Усмань, у действительного члена Р. К. П., товарища Каплана.

Я: – Под портретом Маркса…

Левит: – И тем не менее вы…

Я: – И тем не менее я. Отчего же не обменяться мнениями?

Кто-то из солдат: – А это правильно товарищ говорит. Какая ж свобода слова, если ты и икнуть по-своему не смеешь! И ничего товарищ особенного не заявляли: только, что жид жида уложил, это мы и без того знаем.

Левит: – Товарищ Кузнецов, прошу вас взять свое оскорбление обратно!

Кузнецов: – Какое такое оскорбление?

Левит: – Вы изволили выразиться про идейную жертву – жид?!

Кузнецов: – Да вы, товарищ, потише, я сам член К<оммунисти>ческой партии, а что я жид сказал – у меня привычка такая!

Теща – Левиту: – Да что ж это вы, голубчик, всхорохорились? Подумаешь – «жид». Да у нас вся Москва жидом выражается, – и никакие ваши декреты запретные не помогут! Потому и жид, что Христа распял!

– Хрисс – та – а?!!

Как хлыст полоснул. Как хлыстом полоснул. Как хлыстом полоснули. Вскакивает. Ноздри горбатого носа пляшут.

– Так вы вот каких убеждений. Мадам? Так вы вот за какими продуктами по губерниям ездите – Это и к вам, товарищ, относится! – Пропаганду вести? Погромы подстраивать? Советскую власть раскачивать? Да я вас!.. Да я вас в одну сотую долю секунды…

– И не испугалась! А сын-то у меня на что ж? Самый что ни на есть большевик, почище вас будет. Ишь – расходился! Вот только змеем шипеть! Пятьдесят лет живу, – такого срама…

Хозяйка: – Мадам! Мадам! Успокойтесь! Товарищ Левит пошутил, товарищ всегда так шутит! Да вы сами посудите…

Сваха, отмахиваясь: – И судить не хочу, и шутить не хочу. Надоела мне ваша новая жизнь! Был Николаша – были у нас хлеб да каша,[5] а теперь за кашей за этой – прости Господи! – как пес язык высуня 30 верст по грязи отмахиваем…

Кто-то из солдат: – Николаша да каша? Эх вы, мамаша!.. А не пора ли нам ребята, по домам? Завтра чем свет в Ипатовку надо.

Вернулись N и зять. Привезли муки, веселые. И на мою долю полпуда. Завтра едем. Едем, если сядем.

Стенька Разин. Два Георгия. Лицо круглое, лукавое, веснушчатое: Есенин, но без мелкости. Только что, вместе с другими молодцами, вернулся с реквизиции. Вижу его в первый раз.

– Разин! – Не я сказала: сердце вызвонило! (Сердце! Колокол! Только вот звонарей нет!)

Оговорюсь: мой Разин (песенный) белокур, – с рыжевцой белокур. (Кстати, глупое упразднение буквы д: белокудр, белые кудри: и буйно и бело. А белокур – что? Белые куры? Какое-то бесхвостое слово!) Пугачев черен, Разин бел. Да и слово само: Степан! Сено, солома, степь. Разве черные Степаны бывают? А: Ра-зин! Заря, разлив, – рази, Разин! Где просторно, там не черно. Чернота – гуща.

Разин – до бороды, но уже с тысячей персияночек! И сразу рванулся ко мне, взликовал:[6]

---

[5] «Пришли большевики – Не стало ни хлеба, ни муки», – московская поговорка 18 г. (примеч. М. Цветаевой).

[6] Вся встреча, кроме первых нескольких слов, наедине (примеч. М. Цветаевой).

– Из Москвы, товарищ? Как же, как же, Москву знаю! С самых этих семи холмов Москву озирал! Еще махонький был, стих про Москву учил:

Город славный, город древний,
Ты вместил в свои концы
И посады, и деревни,
И палаты, и дворцы…

Москва – всем городам мать. С Москвы все и пошло – царство-то.

Я: – Москвой и кончилось.

Он, сообразив и рассмеявшись: – Это вы верно заметили.

Эх, Москва, Москва, Москва,
Золотая голова,
Запро-па-ща-я!

Пасху аккурат в Москве встречал. Как загудел это Иван-Великий-Колокол – да в ответ-то ему – да кажинная на свой голос-то – да врозь, да в лад, да в лоб, да в тыл – уж и не знаю: чугун ли гудит, во мне ли гудет. Как в уме порешился. – ей-Богу! Никогда мне того не забыть.

Говорим что-то о церквах, о монастырях.

– Вы вот, товарищ, обижаетесь, когда на попов ругаются, монашескую жизнь восхваляете. Я против того ничего не говорю: не можешь с людьми – иди в леса. На миру души не спасешь, сорок сороков чужих загубишь. Только, по совести, разве в попы да в монахи затем идут? За брюхом своим идут, за жизнью сладкой. Вроде как мы, к примеру, на реквизицию, – ей-Богу! А Бог-то при чем? Бога-то, на святость ту глядя, с души воротит. Изничтожил бы он свой мир, кабы мог! Нет, ты мне Богом не заслоняйся! Бог – свет: всю твою черноту пропущает. Ни он от тебя черней, ни ты от него не белей.

И не против Бога я, товарищ, восстаю, а против слуг его: рук неверных! Сколько через эти руки от него народу отпало! Да разве у всех рассудок есть? Вот, хотя бы отец мой, к примеру, – как началось это гонение, он сразу рассудил: с больной головы да на здоровую валят. Поп, крысий хвост, нашкодил – Бога вешать ведут. Не ответствен Бог за поповский зоб! И сами, говорит, премного виноваты: попа не чтили, вот он и сам себя чтить перестал. А как его чтить-то? Я, барышня, ихнего брата в точности превзошел. Кто первый вор? – Поп. Обжора? – Поп. Гулена? – Поп. А напьется, – только вот разве – барышни вы, объяснить-то вам неприлично…

– Ну а монахи, отшельники?

– А про монахов и говорить нечего, чай, сами знаете. Слова постные, а языком с губ скоромную мысль облизывают. Раскрои ему черепушку: ничего, окромя копченых там да соленых, да девок, да наливок-вишневок не удостоверишь. Вот и вера вся! Монашеское житие! Души спасение!

– А в Библии, помните? Из-за одного праведника Содом спасу? Или не читали?

– Да сам, признаться, не читал, – все больше я в младости голубей гонял, с ребятами озоровал. А вот отец у меня – великий церковник. (Вдохновляясь): Где эту самую Библию ни открой – так тебе десять страниц подряд слепыми глазами и шпарит…

А я вот еще вам хотел, товарищ, про монахов досказать. Монашки, к примеру. Почему на меня каждая монашка глазами завидует?

Я, мысленно: «Да как же на тебя, голубчик, не…»

Он, разгораясь:

– Жмется, мнется, глаза как колодцы. Да куда ж ты меня этими глазами тянешь-то? Да какая ж ты после этого моленная? Кровь озорная – в монастырь не иди, а моленная – глаза вниз держи!

Я, невольно опуская глаза: «Морализирующий Разин». (Вслух):

– Вы мне лучше про отца расскажите.

– О-тец! Отец у меня – великий человек! Что там – в книжках пишут: Маркс, например, и Гракхи-братья. Кто их видел-то? Небось, все иностранцы: имя – язык занозишь, а отечества нету. Три тыщи лет назад – да за семью за синими морями – тридевять земель пройдешь – в тридесятой, – это не хитро великим быть! А может так, выдумки одни? Этот-то (взмах на стенного Маркса)… гривач косматый – вправду был?

Я, не сморгнув: – Выдумали. Сами большевики и выдумали. По дороге из Берлина – знаете? Вымозговали, пиджак надели, бороду – гриву распушили, по всем заборам расклеили.

– А вы, барышня, смелая будете.

– Как и вы.

(Смеется).

…Но вы мне про отца рассказать хотели?

– Отец. Отец мой – околодочный надзиратель царского времени (Я, мысленно: точно за царским временем надзирает!)… Великий, я вам повторю, человек. Так бы за ним ходил с перышком круглые сутки и все бы записывал. Не слова роняет: камни-тяжеловесы! Все: скрижали, да державы, да денницы… Аж мороз по коже, ей-Богу! Раздует себе ночью самоварчик, оденет очки роговые, книжищу свою разворотит – и ну листами бури-ветры подымать! (Понижая голос)…Все судьбы знает. Все сроки. Все кому что положено, кому что заказано, никого не помилует. И царское крушение предсказал. Даром, что царя-то вровень с Богом чтил. И сейчас говорит: «Хоть режьте, хоть живьем ешьте, а не держаться этой власти боле семи годов. Змей – она, змеиной кожей и свалится»… Книгу пишет: «Слезы России». Восемь тетрадей клеенчатых в мелкую клетку исписал. Никому не показывает,

ни мне даже… Только вот знаю: «Слезы». Каждую ночь до петухов сидит.

Два Георгия, спас знамя.

– Что вы чувствовали, когда спасали знамя?

– А ничего не чувствовал! Есть знамя – есть полк, нет знамени – нет полка!

Купил с аукциона дом в Климачах за 400 руб<лей>. Грабил банк в Одессе, – «полные карманы золота»! Служил в полку Наследника.

– Выходит он из вагона: худенький, хорошенький, и жалобным таким голоском: «А куда мне сейчас можно будет пойти?» – «Вас автомобиль ждет. Ваше высочество». Многие солдаты плакали.

Говорю ему стихи: «Царю на Пасху», «Кровных коней»…

– Это какой же человек сочинял? Не из простых, чай? А раскат-то какой! Аккурат как громом перекатило· –…Пойла – стойла… А здорово ж ему бы нагорело за стойла за эти! А я полагаю – не в памяти писано, а? Убили отца, убили мать, убили братьев, убили сестер, – вот он и записа-ал! С хорошей жизни так не запишешь! А нельзя ли было бы, барышня, мне этот стих про стойла на память списать?

– Попадетесь.

– Я?!! – Рожа из вдохновенной делается грабительской. Я – да попасться? Нерожён еще про́пад тот, через который я пропасть должен! Нерожён – непроложен! Да у меня, барышня, золотых часов четверо (Руки по карманам!) Хотите – сверяйтесь! И все по разному времени ходят: одни по московскому, другие по питерскому, третьи по рязанскому, а эти вот (ударяя кулаком в грудь) – по разинскому!

– А сказать вам стих про Стеньку Разина? Тот же человек писал. Слушайте.

Ветры спать ушли с золотой зарей,
Ночь подходит – каменною горой.
И с своей княжною…

Говорю, как утопающий, – нет, как рыба, собственным морем захлебнувшаяся (Говорящая рыба… Гм… Впрочем, в сказках бывает).

После тещ, свах, пшен, помойных ведер, наганов, Марксов – этот луч (голос), ударяющий в эту синь (глаза!). Ибо читаю ему прямо в глаза: как смотрят! В васильковую синь: сгинь.

Стенька Разин!

Стенька Разин, я не персияночка, во мне нет двуострого коварства: Персии и нелюбящей. Но я и не русская, Разин, я до-русская, до-татарская, – довременная Русь я – тебе навстречу! Соломенный Степан, слушай меня, степь: были кибитки и были кочевья, были костры и были звезды. Кибиточный шатер – хочешь? где сквозь дыру – самая большая звезда.

Но…

– Только вы уж, барышня, покрупней потрудитесь: я руку-то писаную не больно читаю.

С ребяческой радостью следит за возникновением букв (пишу, конечно, печатными).

– Дэ… мэ… А вот и ять, – аккурат церковка с куполом.

– А вы сам деревенский?

– Сло-бодский!

– А теперь я вам, барышня, за труды за ваши, сказ один расскажу – про город подводный. Я еще махоньким был, годочке по восьмом, – отец сказывал.

Будто есть где-то в нашей русской земле озеро, а на дне озера того – город схоронен: с церквами – с башнями, с базарами – с амбарами (Внезапная усмешка). А каланчи пожарной – не надо: кто затонул – тому не гореть! И затонул будто бы тот град по особому случаю. Нашли на нашу землю татары, стали дань собирать: чиста злата крестами, чиста се́ребра колоколами, честной крови-плоти дарами. Град за градом, что колос за колосом, клонятся: ключми позвякивают, татарам поддакивают. А один, вишь, князь – непоклонлив был: «Не выдам я своей святыни – пусть лучше кровь моя хлынет, не выдам я своей. Помоги – отрубите мне руки и ноги! Слышит – уж недалече рать: топота великие». Созывает он всех звонарей городских, велит им изо всей силы-мочи напоследок, в кол'кола взыграть: татарам на омерзение, Господу Богу на прославление. Ну – и постарались тут звонарики! Меня вот только, молодца, не было… Как вдарят! Как грянут! Аж вся грудь земная – дрогом пошла!

И поструилились, с того звону, реки чиста-серебра: чем пуще звонари работают, тем круче те реки бегут. А земля того серебра не принимает, не впитывает. Уж по граду ни пройти-ни проехать, одноэтажные домишки с головой под воду ушли, только Князев дворец один держится. А уж тому звону в ответ – другие звоны пошли: рати поганые подступают, кривыми саблями бряцают. Взобрался князь на самую дворцовую вышку – вода по грудь – стоит с непокрытой головой, звон по кудрям серебром текет. Смотрит: под воротами-то тьмы! Да как зыкнет тут не своим голосом:

– Эй вы, звонарики-сударики!

Только чего сказать-то он им хотел – никто не слыхал! И городу того боле – никто не видал!

Ворвались татары в ворота – ровень-гладь. Одни струйки меленькие похлипывают…

Так и затонул тот город в собственном звоне.

Стенька Разин, я не Персияночка, но перстенек на память – серебряный – я Вам подарю.

Глядите: двуглавый орел, вздыбивший крылья, проще: царский гривенник в серебряном ободке. Придется ли по руке? Придется. У меня рука не дамская. Но ты, Стенька, не понимаешь рук: формы, ногтей, «породы». Ты понимаешь ладонь (тепло) и пальцы (хватку). Рукопожатие ты поймешь.

Перстенек бери без думы: было десять – девять осталось! А что в ответ? Никогда ничего в ответ.

С безымянного моего – на мизинный твой.

Но не дам я его тебе, как даю: ты – озорь! Будет с тебя «памяти о царском времени». Шатры и костры – при мне.

– А вот у меня еще с собой книжечка о Москве, возьмите тоже. Вы не смотрите, что маленькая, – в ней весь московский звон!

(«Москва», изд<ание> Универсальной библиотеки. Летописцы, чужестранцы, писатели и поэты о Москве. Книжка, которую дарю уже четвертый раз. – Сокровищница!)

– Ну а как в Москве буду – навестить можно? Я даже имени-отечества вашего не спросил.

Я, мысленно: «Зачем?!» (Вслух): – Дайте книжечку, запишу.[7]

[7] Больше никогда его не видела (примеч. М. Цветаевой).

Потом на крыльце провожаю – пока глаз и пока души…

Завтра едем. Едем, если сядем. Грозят заградительными отрядами. Впрочем, Каплан (из уважения к теще) обещает дать знать по путям, что едут свои.

Утреннее посещение N (ночевал в вагоне).

– М<арина> И<вановна>, сматывайтесь – и айда! Что вы здесь с тещей натворили? Этот, в красной черкеске, в бешенстве! Полночи его работал. Наврал, что вы и с Лениным и с Троцким, что вы им всем очки втирали, что вы тайно командированы, черт знает чего наплел! Да иначе не вывез бы! Контрреволюция, орет, юдофобство, в одной люльке с убийцами Урицкого, орет, качалась! Это теща, говорю, качалась (тещу-то Колька вывезет!). Обе, обе, орет, – одного поля ягодки! Ну потом, когда я и про Троцкого и про Ленина, немножечко осел. А Каплан мне – так уж безо всяких: – «Убирайтесь сегодня же, наши посадят. За завтрашний день не ручаюсь». – Такие дела!

А еще знаете, другое удовольствие: ночью проснулся – разговор. Черт этот – еще с каким-то. Крестьяне поезд взорвать хотят, слежка идет… Три деревни точно… Ну и гнездо, Марина Ивановна! Да ведь это ж – Хитровка! Я волосы на себе рву, что вас здесь с ними одну оставил! Вы же ничего не понимаете: они все будут расстреляны!

Я: – Повешены. У меня даже в книжке записано.

Он: – И не повешены, а расстреляны. Советскими же. Тут ревизии ждут. Левит на Каплана донес, а на Левита – Каплан донес. И вот, кто кого. Такая пойдет разборка! Ведь здесь главный ссыпной пункт – понимаете?

– Ни звука. Но ехать, определенно, надо. А тещин сын?

– С нами едет, – мать будто проводить. Не вернется. Ну, М<арина> И<вановна>, за дело: вещи складывать!

…И, ради Бога, ни одного слова лишнего! Мы уж с Колькой тещу за сумасшедшую выдали. Задаром пропадем!

Сматываюсь. Две корзинки: одна кроткая, круглая, другая квадратная, злостная, с железными углами и железкой сверху. В первую – сало, пшено, кукол (янтарь, как надела, так не сняла), в квадратную – полпуда N и свои 10 ф<унтов>. В общем, около 2 п<удов>. Беру на вес – вытяну!

Хозяйка, поняв, что уезжаю, льнет; я, поняв, что уезжаю, наглею.

– Все товарищ, товарищ, но есть же у человека все-таки свое собственное имя. Вы, может быть, скажете мне, как вас зовут?

– Циперович, Мальвина Ивановна.

(Из всей троичности уцелел один Иван, но Иван не выдаст!)

– Представьте себе, никак не могла ожидать. Очень, очень приятно.

– Это моего гражданского мужа фамилия, он актер во всех московских театрах.

– Ах, и в опере?

– Да, еще бы: бас. Первый после Шаляпина (Подумав):

…Но он и тенором может.

– Ах, скажите! Так что, если мы с Иосей в Москву приедем…

– Ах, пожалуйста, – во все театры! В неограниченном количестве! Он и в Кремле поет.

– В Крем…?!

– Да, да, на всех кремлевских раутах. («Интимно»): Потому что, знаете, люди везде люди. Хочется же поразвлечься после трудов. Все эти расправы и расстрелы…

Она: – Ах, разумеется! Кто же обвинит? Человек – не жертва, надо же и для себя… И скажите, много ваш супруг зарабатывает?

Я: – Деньгами – нет, товаром – да. В Кремле ведь склады. В Успенском соборе – шелка, в Архангельском (вдохновляясь): меха и бриллианты…

– А-ах! (Внезапно усумнившись): – Но зачем же вы, товарищ, и в таком виде, в эту некультурную провинцию? И своими ногами 10 коробочек спичек разносите?

Я, пушечным выстрелом в ухо: – Тайная командировка!

(Подскок. Глоток воздуха и, оправившись):

– Так значит вы, маленькая плутовка, так-таки кое-что, а? Маленький запасец, а? Я, снисходительно:

– Приезжайте в Москву, дело сделаем. Нельзя же здесь, на реквизиционном пункте, где все для других живут…

Она:

– О, вы абсолютно правы! – И рискованно. – А ваш адресок вы мне все-таки на память, а? Мы с Иосей непременно, и в возможно скором времени…

Я, покровительственно:

– Только торопитесь, этот товар не залеживается. У меня не то, чтобы груды, а все-таки…

Она, в горячке:

– И по сходной цене уступите?

Я, царственно: – По своей.

(Крохотными цепкими руками хватая мои руки):

– Вы мне, может быть, запишете свой адресок?

Я, диктуя: – Москва, Лобное место, – это площадь такая, где царей казнят – Брутова улица, переулок Троцкого.

– Ах, уже и такой есть?

Я: – Новый, только что пробит. (Стыдливо): Только дом не очень хорош: № 13, и квартира – представьте – тоже 13! Некоторые даже опасаются.

Она: – Ах, мы с Иосей выше предрассудков. Скажите, и недалеко от центра?

– В самом Центре: три шага – и Совет.

– Ах, как приятно…

Приход тещи кладет конец нашим приятностям.

Последняя секунда. Прощаемся.

– Если б Иося только знал! Он будет в отчаянии! Он бы собственноручно проводил вас. Подумайте, такое знакомство!

– Встретимся, встретимся.

– И я бы сама, Мальвина Ивановна, с таким большим желанием сопровождала вас до станции, но у нас сегодня обедают приезжие, русские, – надо блины готовить на семь персон. Ах, вы не можете себе представить, как я устала от этих низких интересов.

Произношу слова благодарности, почтительно, с оттенком галантности, жму руку.

– Итак, помните, мой скромный дом, как и я сама и муж, – всегда к вашим услугам. Только непременно известите, чтобы на вокзале встретили.

Она: – О, Иося даст служебную телеграмму.

Теща на воле:

– М<арина> И<вановна>, что это вы с ней так слюбились? Неужели ж и адрес дали плюгавке этой?

– Как же! Чертова площадь. Бесов переулок, ищи ветра в поле!

(Смеемся).

Дорога.

Смеется, да не очень. До станции три версты. Квадратная корзинка колотит по ногам, чувство, что руки – по колено.

Помощь N отвергаю, – человека из-за мешков не видно! Тригорбый верблюд.

Иду – скриплю. Скрипит и корзинка – правая: гнусное, на каждом шагу, поскрипывание. Около 1 п<уда>. Как бы ручка не оторвалась! (О, идиотизм: за мукой – с корзинами! Мука, которая рифмует только с одним: мешок! В этих корзинках – вся русская интеллигенция!) Нужно думать о чем-нибудь другом. Нужно понять, что все это – сон. Ведь во сне наоборот, значит… Да, но у сна есть свои сюрпризы: ручка может отвалиться… вместе с рукой. Или: в корзине вместо муки может оказаться… нет, похуже песка: полное собрание сочинений Стеклова! И не вправе негодовать: сон. (Не оттого ли я так мало негодую в Революции?)

– Да подождите же, говорят! Мешок прорвался! Корзины наземь. Бегу на зов. Посреди дороги, над мешком, как над покойником, сваха. Подымает красное, страшное, как освежеванное лицо.

– Ну булавка-то у вас хоть есть – аглицкая? Сколько я, на вашу тетушку шимши, иголок изломала!

Достаю, даю: мужскую, огромную, надежную. Унимаем, как можем, коварно-струящийся мешок. Теща охает:

– И иголка была с ниткой, нарочно приготовила! Чуяло мое сердце! (Мешку): – Ах ты подлец, подлец неверный! А вот прощаться стала с мерзавкой-то вашей, так, значит, замечтавшись, и вынула. Да лучше бы я ей, мерзавке этой, этой самой иголкой – глаза выколола!

– Завтра, завтра, мамаша! – торопит Колька – нынче на поезд надо!

Взвалили, пошли.

…Детская книжка есть: «Во сне все возможно», и у Кальдерона еще: «Жизнь есть сон». А у какого-то очаровательного англичанина, не Бердслея, но вроде, такое изречение: «Я ло-

жусь спать исключительно для того, чтобы видеть сны». Это он о снах на заказ, о тех снах, где подсказываешь. Ну, сон, снись! Снись, сон, так: телеграфные столбы – охрана, они сопутствуют. В корзине не мука, а золото (награбила у этих). Несу его тем. А под золотом, на самом дне, план расположения всех красных войск. Иду десятый день, уж скоро Дон. Телеграфные столбы сопутствуют. Телеграфные столбы ведут меня к –

– Ну, М<арина> И<вановна>, крепитесь! С полверсты осталось!

А руки у меня, действительно, до колен, особенно правая. Пот льется, щекоча виски. Все боковые волосы смочены. Не утираю: рука, железка корзины, повторный удар по ноге – одно. Расплетется – конец. Когда больно – нельзя заново.

Так или иначе – станция.

Станция.

Станция. Серо и волнисто. Земля – как небо на батальных картинах. Издалека пугаюсь, спутника за руку.

– Что?!

N, с усмешкой: – *Люди, Марина Ивановна, ждут посадки.*

Подходим ближе: мешочные холмы и волны, в промежутках вздохи, платки, спины. Мужчин почти нет: быт Революции, как всякий, ложится на женщину: тогда – снопами, сейчас мешками (Быт, это мешок: дырявый. И все равно несешь).

Недоверчивые обороты голов в нашу сторону.

– Господа!

– Москву объели, деревню объедать пришли!

– Ишь натаскали добра крестьянского!

Я – N: – Отойдем!

Он, смеясь: – Что вы, М<арина> И<вановна>, то ли будет!

Холодею, в сознании: правоты – их и неправоты – своей.

Платформа живая. Ступить – некуда. И все новые подходят: один как другой, одна как другая. Не люди с мешками, – мешки на людях. (Мысленно, с ненавистью: вот он, хлеб!) И как это еще мужики отличают баб? Зипуны, кожухи… Морщины, овчины… Не мужики и не бабы: медведи: оно.

– Последние пришли, первые сядут.

– Господа и в рай первые…

– Погляди, сядут, а мы останемся…

– Вторую неделю под небушком ночуем… У-у-у…

Посадка.

Поезд. – Одновременно, как из-под земли: двенадцать с винтовками. Наши! В последнюю секунду пришли посадить. Сердце падает: Разин!

– Что, товарищ, небось сробели? Ничего! Ся-адем! Безнадежно, я даже не двигаюсь. Не вагоны – завалы. А навстречу завалам вагонным – ревуще, вопиюще, взывающе и глаголюще – завалы платформенные.

– Ребенка задавили! Ре-бенка! Ре –

Лежачая волна – дыбом. Горизонталь – в стремительную и обезумевшую вертикаль. Лезут. Втаскивают. Вваливают. Вваливаются.

Я – через всех – Разину:

– Ну? Ну?

– Ус-пеем, барышня! Не волнуйтесь! Вот мы их сейчас!

– Ребята, осади, стрелять будем!

Ответный рев толпы, щелк в воздух, удар в спину, не знаю где, не знаю что, глаза из ям, взлет…

– А это что ж, а? Это что ж за птицы – за синицы? Штыка-ами? Крестьянского добра награбили да по живому человеку ступа-ать?

– А спусти-ка их, ребята, и дело с концом! Пущай вольным воздухом продышатся!

Поняла, что села и едем. (Все ли? Озирнуться нельзя.) Постепенное осознание: стою, одна нога есть. А другая, «очевидно», тоже есть, но где – не знаю. Потом найду.

А гроза голосов растет.

– Долго очень думать не приходится. Штык посадил, а мужик высадит! Что ж это, в самом деле, за насмешка, мы этой машины-то, небось, семнадцать ден, как Царства Небесного какого… А эти!..

Утешаюсь только одним: извлечь человека из этой гущи то же самое, что пробку из штофа без штопора: немыслимо. Мне быть выброшенной – другим раздаться. А раздаться – разлететься вагону. Точное ощущение предела вместимости: дальше – некуда, и больше нельзя.

Стою, чуть покачиваемая тесным, совместным человеческим дыханием: взад и вперед, как волна. Грудью, боком, плечом, коленом сращенная, в лад дышу. И от этой предельной телесной сплоченности – полное ощущение потери тела. Я, это то, что движется. Тело, в столбняке – оно. Теплушка: вынужденный столбняк.

– Господа-а-а… О-о-о… У-у-у…

Но… нога: ведь нет же! Беспокойство (раздраженное) о ноге покрывает смысл угроз. Нога – раньше… Вот, когда найду ногу… И, о радость: находится! Что-то – где-то болит. Прислушиваюсь. Она, она, голубушка! Где-то далеко, глубоко… Боль оттачивается, уже непереносима, делаю отчаянное усилие…

Рев: – Это кто ж сапогами в морду лезет?!

Но дуб выкорчеван: рядом со мной, как дымовой столб (ни чулка, ни башмака не видно) – моя насущная праведная вторая нога.

И – внезапный всплеск в памяти: что-то темное ввысь! горит! Ах, рука на прощание, с моим перстнем! Станции Усмань Тамбовской губ<ернии> – последний привет!

Москва, сентябрь, 1918

МОИ СЛУЖБЫ

Пролог

Москва, 11-го ноября 1918 г.

– Марина Ивановна, хотите службу? Это мой квартирант влетел. Икс, коммунист, кротчайший и жарчайший.

– Есть, видите ли, две: в банке и в Наркомнаце… и, собственно говоря (прищелкивание пальцами)… я бы, со своей стороны, вам рекомендовал…

– Но что там нужно делать? Я ведь ничего не умею.

– Ах, все так говорят!

– Все так говорят, я так делаю.

– Словом, как вы найдете нужным! Первая – на Никольской, вторая здесь, в здании первой Чрезвычайки.

– Я: –?! –

Он, уязвленный: – Не беспокойтесь! Никто вас расстреливать не заставит. Вы только будете переписывать.

Я: – Расстрелянных переписывать?

Он, раздраженно: – Ах, вы не хотите понять! Точно я вас в Чрезвычайку приглашаю! Там такие, как вы, и не нужны…

Я: – Вредны.

Он: – Это дом Чрезвычайки, Чрезвычайка ушла. Вы наверное знаете, на углу Поварской и Кудринской, у Льва Толстого еще… (щелк пальцами)… дом…

Я: – Дом Ростовых? Согласна. А учреждение как называется?

Он: – Наркомнац. Народный Комиссариат по делам национальностей.

Я: – Какие же национальности, когда Интернационал?

Он, почти хвастливо: – О, больше, чем в царские времена, уверяю вас!.. Так вот. Информационный отдел при Комиссариате. Если вы согласны, я сегодня же переговорю с

заведующим. (Внезапно усумнившись:) – Хотя, собственно говоря…

Я: – Постойте, а это не против белых что-нибудь? Вы понимаете…

Он: – Нет, нет, это чисто механическое. Только, должен предупредить, пайка нет.

Я: – Конечно, нет. Разве в приличных учреждениях?..

Он: – Но будут поездки, может быть, повысят ставки… А в банк вы решительно отказываетесь? Потому что в банке…

Я: – Но я не умею считать.

Он, задумчиво: – А Аля умеет?[8]

Я: – И Аля не умеет.

Он: – Да, тогда с банком безнадежно… Как вы называете этот дом?

Я: – Дом Ростовых.

Он: – Может быть, у вас есть «Война и мир»? Я бы с удовольствием… Хотя, собственно говоря…

Уже лечу, сломя голову, вниз по лестнице. Темный коридор, бывшая столовая, еще темный коридор, бывшая детская, шкаф со львами… Выхватываю первый том «Войны и мира», роняю по соседству второй том, заглядываю, забываю, забываюсь…

– Марина, а Икс ушел! Сейчас же после вашего ухода! Он сказал, что он на ночь читает три газеты и еще одну легкую газетку и что «Войну и мир» не успеет. И чтобы вы завтра позвонили ему в банк, в 9 часов. А еще, Марина (блаженное лицо), он подарил мне четыре куска сахара и кусок – вы только подумайте – белого хлеба!

Выкладывает.

– А что-нибудь еще говорил, Алечка?

---

[8] Але 4 с половиной года (примеч. М. Цветаевой).

– Постойте… (наморщивает брови)… да, да, да! Саботаж… И еще спрашивал про папу, нет ли писем. И такое лицо, Марина, сделал… гримасное! Точно нарочно хотел рассердиться…

13-го ноября (хорош день для начала!). Поварская, дом гр. Соллогуба, «Информационный отдел Комиссариата по делам Национальностей».

Латыши, евреи, грузины, эстонцы, «мусульмане», какие-то «Мара-Мара», «Эн-Дунья», – и все это, мужчины и женщины, в куцавейках, с нечеловеческими (национальными) носами и ртами.

А я-то, всегда чувствовавшая себя недостойной этих очагов (усыпальниц!) Рода.

(Говорю о домах с колонистами и о своей робости перед ними.)

14-го ноября, второй день службы.

Странная служба! Приходишь, упираешься локтями в стол (кулаками в скулы) и ломаешь себе голову: чем бы таким заняться, чтобы время прошло? Когда я прошу у заведующего работы, я замечаю в нем злобу.

Пишу в розовой зале, – розовой сплошь.

Мраморные ниши окон, две огромных завешенных люстры. Мелкие вещи (вроде мебели!) исчезли.

15-го ноября, третий день службы.

Составляю архив газетных вырезок, то есть: излагаю своими словами Стеклова, Керженцева, отчеты о военнопленных, продвижение Красной Армии и т. д. Излагаю раз, излагаю два (переписываю с «журнала газетных вырезок» на «карточки»),

потом наклеиваю эти вырезки на огромные листы. Газеты тонкие, шрифт еле заметный, а еще надписи лиловым карандашом, а еще клей, – это совершенно бесполезно и рассыпется в прах еще раньше, чем сожгут.

Здесь есть столы: эстонский, латышский, финляндский, молдаванский, мусульманский, еврейский и несколько совсем нечленораздельных. Каждый стол с утра получает свою порцию вырезок, которую затем, в течение всего дня, и обрабатывает. Мне все эти вырезки, подклейки и наклейки представляются в виде бесконечных и исхищреннейших варьяций на одну и ту же, очень скудную тему. Точно у композитора хватило пороху ровно на одну музыкальную фразу, а исписать нужно было стоп тридцать нотной бумаги, – вот и варьирует: варьируем.

Забыла еще столы польский и бессарабский. Я, не без основания, «русский» (помощник не то секретаря, не то заведующего).

Каждый стол – чудовищен.

Слева от меня – две грязных унылых еврейки, вроде селедок, вне возраста. Дальше: красная, белокурая – тоже страшная, как человек, ставший колбасой, – латышка: «Я эфо знала, такой миленький. Он уцастфофал в загофоре и эфо теперь пригофорили к расстрелу. Чик-чик»… И возбужденно хихикает. В красной шали. Ярко-розовый жирный вырез шеи.

Еврейка говорит: «Псков взят!» У меня мучительная надежда: «Кем?!!»[9] Справа от меня – двое (Восточный стол). У одного нос и нет подбородка, у другого подбородок и нет носа. (Кто Абхазия и кто Азербайджан?) За мной семнадцатилетнее дитя – розовая, здоровая, курчавая (белый негр), легкомыслящая и легко-любящая, живая Атенаис из «Боги жаж-

[9] Только позднее поняла: «взят» – конечно: «нами!» Если бы белыми – так «отдан» (примеч. М. Цветаевой).

дут» Франса, – та, что так тщательно оправляла юбки в роковой тележке, – «fière de mourir comme une Reine de France».[10]

Еще – тип институтской классной дамы («завзятая театралка»), еще – жирная дородная армянка (грудь прямо в подбородок, не понять: где что), еще ублюдок в студенческом, еще эстонский врач, сонный и пьяный от рождения… Еще (разновидность!) – унылая латышка, вся обсосанная. Еще…

(Пишу на службе.)

Опечатка:

«Если бы иностранные правительства оставили в помое русский народ» и т. д.

«Вестник Бедноты», 27-го ноября, № 32.

Я, на полях: «Не беспокойтесь! Постоят-постоят – и оставят!»

Пересказываю, по долгу службы, своими словами, какую-то газетную вырезку о необходимости, на вокзалах, дежурства грамотных:

«На вокзалах денно и нощно должны дежурить грамотные, дабы разъяснять приезжающим и отъезжающим разницу между старым строем и новым».

Разница между старым строем и новым:

Старый строй: – «А у нас солдат был»… «А у нас блины пекли»… «А у нас бабушка умерла».

Солдаты приходят, бабушки умирают, только вот блинов не пекут.

Встреча.

[10] Готовая умереть, как французская королева (*фр.*).

Бегу в Комиссариат. Нужно быть к девяти, – уже одиннадцать: стояла за молоком на Кудринской, за воблой на Поварской, за конопляным на Арбате.

Передо мной дама: рваная, худенькая, с кошелкой. Равняюсь. Кошелка тяжелая, плечо перекосилось, чувствую напряжение руки.

– Простите, сударыня. Может быть, вам помочь?

Испуганный взлет:

– Да нет…

– Я с удовольствием понесу, вы не бойтесь, мы рядом пойдем.

Уступает. Кошелка, действительно, чертова.

– Вам далеко?

– В Бутырки, передачу несу.

– Давно сидит?

– Который месяц.

– Ручателей нет?

– Вся Москва – ручатели, потому и не выпускают.

– Молодой?

– Нет, пожилой… Вы, может быть, слышали? Бывший градоначальник, Д<жунков>ский.

С Д<жунков>ским у меня была такая встреча. Мне было пятнадцать лет, я была дерзка. Асе[11] было тринадцать лет, и она была нагла. Сидим в гостях у одной взрослой приятельницы. Много народу. Тут же отец. Вдруг звонок: Д<жунков>ский.

(И ответный звонок: «Ну, Д<жунков>ский, держись!»)

Знакомимся. Мил, обаятелен. Меня принимает за взрослую, спрашивает, люблю ли я музыку. И отец, памятуя мое допотопное вундеркиндство:

[11] Моей сестре (примеч. М. Цветаевой).

– Как же, как же, она у нас с пяти лет играет! Д<жунков>ский, любезно:

– Может быть, сыграете? Я, ломаясь:

– Я так все перезабыла… Боюсь, вы будете разочарованы… Учтивость Д<жунков>ского, уговоры гостей, настойчивость отца, испуг приятельницы, мое согласие.

– Только разрешите, для храбрости, сначала с сестрой в четыре руки?

– О, пожалуйста.

Подхожу к Асе и, шепотом на своем языке:

– Wi (pi) rwe (pe) rde (pe) nTo (po) nlei(pei) te(pe)r spi(pi)…

Ася не выдерживает.

Отец: – Что это вы там, плутовки?

Я – Асе: «Гаммы наоборот!»

Отцу:

– Это Ася стесняется.

Начинаем. У меня: в правой руке ре, в левой до (я в басах). У Аси – в левой руке ре, в правой до. Идем навстречу (я слева направо, она справа налево). При каждой ноте громогласный двуголосный счет; раз и, два и, три и… Гробовое молчание. Секунд через десять неуверенный голос отца:

– Что это вы, господа, так монотонно? Вы бы что-нибудь поживее выбрали.

В два голоса, не останавливаясь:

– Это только сначала так.

Наконец, моя правая и Асина левая – встретились.

Встаем с веселыми лицами.

Отец – Д<жунков>скому: «Ну, как вы находите?»

И Д<жунков>ский, в свою очередь вставая: «Благодарю вас, очень отчетливо».

Рассказываю. По ее просьбе называю себя. Смеемся.

– О, он не только к шуткам был снисходителен. Вся Москва… На углу Садовой прощаемся. Снова под тяжестью кошелки перекашивается плечо.

– Ваш батюшка умер?

– До войны.

– Уж и не знаешь, жалеть или завидовать.

– Жить. И стараться, чтобы другие жили. Дай вам Бог!

– Спасибо. И Вам.

Институт.

Думала ли я когда-нибудь, что после стольких школ, пансионов и гимназий, буду отдана еще и в Институт?! Ибо я в Институте, и именно отдана (Иксом).

Прихожу между 11 ч. и 12 ч., каждый раз сердце обмирает: у нас с Заведующим одни привычки (министерские!). Это я о главном Заведующем, – М<илле>ре, своего собственного, Иванова, пишу с маленькой буквы.

Раз встретились у вешалки, – ничего. Поляк: любезен. А я по бабушке ведь тоже полячка.

Но страшнее заведующего – швейцары. Прежние. Кажется, презирают. Во всяком случае, первые не здороваются, а я стесняюсь. После швейцаров главная забота не спутаться в комнатах. (Мой идиотизм на места.) Спрашивать стыдно, второй месяц служу. В передней огромные истуканы-рыцари. Оставлены за ненужностью… никому, кроме меня. Но мне нужны, равно как я, единственная из всех здесь, им сродни. Взглядом прошу защиты. Из-под забрала отвечают. Если никто не смотрит, тихонько глажу кованую ногу. (Втрое выше меня.)

Зала.

Вхожу, нелепая и робкая. В мужской мышиной фуфайке, как мышь. Я хуже всех здесь одета, и это не ободряет. Башмаки на веревках. Может быть, даже есть где-нибудь шнурки, но… кому это нужно?

Самое главное: с первой секунды Революции понять: Всё пропало! Тогда – всё легко.

Прокрадываюсь. Заведующий (собственный, маленький) с места:

– Что, товарищ Эфрон, в очереди стояли? – В трех. – А что выдавали? – Ничего не выдавали, соль выдавали. – Да, соль это тебе не сахар!

Ворох вырезок. Есть с простыню, есть в строчку. Выискиваю про белогвардейцев. Перо скрипит. Печка потрескивает.

– Товарищ Эфрон, а у нас нынче на обед конина. Советую записаться.

– Денег нет. А вы записались?

– Какое!

– Ну что ж, будем тогда чай пить. Вам принести?

Коридоры пусты и чисты. Из дверей щелк машинок. Розовые стены, в окне колонны и снег. Мой розовый райский дворянский Институт! Покружив, набредаю на спуск в кухню: схождение Богородицы в ад или Орфея в Аид. Каменные, человеческой ногой протертые плиты. Отлого, держаться не за что, ступени косят и крутят, в одном месте летят стремглав. Ну и поработали же крепостные ноги! И подумать только, что в домашней самодельной обуви! Как зубами изгрызаны! Да, зуб, единственного зубастого старца: Хроноса – зуб!

Наташа Ростова! Вы сюда не ходили? Моя бальная Психея! Почему не вы – потом, когда-то – встретили Пушкина? Ведь имя то же! Историкам литературы и переучиваться бы не пришлось. Пушкин – вместо Пьера и Парнас – вместо

пленок. Стать богиней плодородия, быв Психеей, – Наташа Ростова – не грех?

Это было бы так. Он приехал бы в гости. Вы, наслышанная про поэта и арапа, востроватым личиком вынырнули бы – и чем-то насмешенная, и чем-то уже пронзенная… Ах, взмах розового платья о колонну!

Захлестнута колонна райской пеной! И ваша – Афродиты, Наташи, Психеи – по крепостным скользящим плитам – лирическая стопа!

– Впрочем, вы просто по ним пролетали за хлебом на кухню!

Но всему конец: и Наташе, и крепостному праву, и лестнице. (Говорят, что когда-нибудь и Времени!) Кстати, лестница не так длинна, – всего двадцать две ступеньки. Это я только по ней так долго (1818 г. – 1918 г.) шла.

Твердо. (Хочется сказать: твердь. Моложе была и монархия была – не понимала: почему небесная твердь. Революция и собственная душа научили.) Выбоины, провалы, обвалы. Расставленные руки нащупывают мокрые стены. Над головой, совсем близко, свод. Пахнет сыростью и Бониваром. Мнится, и цепи лязгают. Ах, нет, это звон кастрюлек из кухни! Иду на фонарь.

Кухня: жерло. Так жарко и красно, что ясно: ад. Огромная, в три сажени, плита исходит огнем и пеной. «Котлы кипят кипучие, ножи точат булатные, хотят козла зарезать»… А козел-то я.

Черед к чайнику. Черпают уполовником прямо из котла. Чай древесный, кто говорит из коры, кто из почек, я просто вру – из корней. Не стекло – ожог. Наливаю два стакана. Обертываю в полы фуфайки. На пороге коротким движени-

ем ноздрей втягиваю конину: сидеть мне здесь нельзя, – у меня нет друзей.

– Ну-с, товарищ Эфрон, теперь и побездельничать можно! (Это я пришла со стаканами.)

– Вам с сахарином или без?

– Валите с сахарином!

– Говорят, на почки действует. А я, знаете…

…Да и я, знаете…

Мой заведующий эсперантист (т. е. коммунист от Филологии). Рязанский эсперантист. Когда говорит об Эсперанто, в глазах теплится тихое безумие. Глаза светлые и маленькие, как у старых святых, или еще у Пана в Третьяковской галерее. Сквозные. Чуть блудливые. Но не плотским блудом, а другим каким-то, если бы не дикость созвучия, я бы сказала: запредельным. (Если можно любить Вечность, то ведь можно и блудить с нею! И блудящих с нею (словесников!) больше, нежели безмолвствующих любящих!)

Рус. Что-то возле носа и подбородка. Лицо одутлое, непроспанное. Думаю, пьяница.

Пишет по-новому, – в ожидании всемирного эсперанто. Политических убеждений не имеет. Здесь, где все коммунисты, и это благо. Красного от белого не отличает. Правой от левой не отличает. Мужчин от женщин не отличает. Поэтому его товариществование совершенно искренно, и я ему охотно плачу тем же. После службы ходит куда-то на Тверскую, где с левой стороны (если спускаться к Охотному) эсперантский магазин. Магазин закрыли, витрина осталась: засиженные мухами открытки эсперантистов друг к другу со всех концов света. Смотрит и вожделеет. Здесь служит, потому что обширное поле для пропаганды: все нации. Но уже начинает разочаровываться.

– Боюсь, товарищ Эфрон, что здесь все больше… (шепотом) жиды, жиды и латыши. Не стоило и поступать: этого добра – вся Москва полна! Я рассчитывал на китайцев, на индусов. Говорят, что индусы очень восприимчивы к чужой культуре.

Я: – Это не индусы, это – индейцы.

Он: – Краснокожие?

Я: – Да, с перьями. Зарежут – и воспримут целиком. Если ты во френче – с френчем, если ты во фраке – с фраком. А индусы – наоборот: страшная тупость. Ничто чужое в глотку не идет, ни идейное, ни продовольственное. (Вдохновляясь:) – Хотите формулу? Индеец (европейца) воспринимает, индус (Европу) извергает. И хорошо делают.

Он, смущенный:

– Ну, это вы… Я, впрочем… Я больше от коммунистов слыхал, они тоже рассчитывают на Индию… (В свою очередь вдохновляясь:) – Думал – в лоск разэсперанчу! (Опадая:) – Без пайка – и ни одного индуса! Ни одного негра! Ни одного китайца даже!.. А эти (круговой взгляд на пустую залу) – и слушать не хотят! Я им: Эсперанто, они мне: Интернационал! (Испугавшись собственного крика:) – Я ничего не имею против, но сначала Эсперанто, а потом уж… Сначала слово…

Я, впадая:

– А потом дело. Конечно. Сначала бе слово и слово бе…

Он, снова взрываясь:

– И этот Мара-Мара! Что это такое? Откуда взялось? Я от него еще – не только слова: звука не слыхал! Это просто немой. Или идиот. Ни одной вырезки не получает – только жалованье. Да мне не жаль. Бог с ним, но зачем приходит? Ведь каждый день, дурак, приходит! До четырех, дурак, сидит. Приходил бы 20-го, к получке.

Я, коварно:

– А может быть, он, бедненький, все надеется? Приду, а на столе вырезка про мою Мару-Мару?

Он, раздраженно:

– Ах, товарищ Эфрон, бросьте! Какие там вырезки? Кто про эту Мару-Мару писать будет? Где она? Что она? Кому она нужна?

Я, задумчиво:

– А в географии ее нет… (Пауза.) И в истории нет… А что, если ее вообще нет? Взяли и выдумали, – для форсу. Дескать, все нации. А этого нарядили… А это просто немой… (конфиденциально:) – Нарочно немого взяли, чтоб себя не выдал, по-русски…

Он, с содроганием доглатывая остывший чай:

– А чччёрт их знает!

Топота́ и грохота́. Это национальности возвращаются с кормежки. Подкрепившись кониной, за вырезки. (Лучше бы вырезку, а? Кстати, до революции, руку на сердце положа, не только не отличала вырезку от требухи, – крупы от муки не отличала! И ничуть не жалею.)

Товарищ Иванов, озабоченно: – Товарищ Эфрон, товарищ М<илле>р может зайти, спровадим-ка поскорей наше барахло. (Разгребает:) – «Продвижение Красной Армии»… Стеклова статья… «Ликвидация безграмотности»… «Долой белогвардейскую свол»… – Это вам – «Буржуазия орудует»… Опять вам… «Все на красный фронт»… Мне… «Обращение Троцкого к войскам»… Мне… «Белоподкладочники и белогвар»… Вам… «Приспешники Колчака»… Вам… «Зверства белых»… Вам…

Потопаю в белизне. Под локтем – Мамонтов, на коленях – Деникин, у сердца – Колчак.

– Здравствуй, моя «белогвардейская сволочь»! Строчу со страстью.

– Да что же вы, товарищ Эфрон, не кончаете? Газету, №, число, кто, о чем, – никаких подробностей! Я сначала было тоже так – полотнищами, да М<илле>р наставил: бумаги много изводите.

– А М<илле>р верит?

– Во что?

– Во всё это.

– Да что тут верить! Строчи, вырезай, клей…

– И в Лету – бух! Как у Пушкина.

– А М<илле>р очень образованный человек, я все еще не потерял надежду…

– Представьте, мне тоже кажется! Я с ним недавно встретилась у виселицы… фу ты, Господи! – У вешалки: все эти «белогвардейские зверства» в голове… Четверть первого! Ничего, даже как-то умно поглядел… Так вы надеетесь?

– Как-нибудь вечерком непременно затащу его в клуб эсперантистов.

– Аспирант в эсперанты?

Espère, enfant, demain! Et puis demain, encore…
Et puis toujours demain… Croyons en l'avenir.
Espère! Et chaque fois que se léve l'aurore
Soyons là pour prier comme Dieu pour nous bénir
Peut-être…[12]

Ламартина стих. Вы понимаете по-французски?

– Нет, но представьте себе, очень приятно слушать. Ах, какой бы из вас, товарищ Эфрон, эсперантист…

---

[12] Надейся, дитя, завтра! И потом – завтра – опять…
И потом – всегда – завтра… Будем верить в будущее.
Надейся! И всякий раз, как заря начинает вставать,
Будем просить, чтобы Бог благословил нас,
Может быть… (*фр.*).

– Тогда я еще скажу. Я в 6-ом классе об этом сочинение писала:

«A une jeune fille qui avait raconté son rêve».

Un baiser… sur le front! Un baiser – même en rêve!
Mais de mon triste front le frais baiser s'enfuit…
Mais de l'été jamais ne reviendra la sève,
Mais l'aurore jamais n'etreindrera la nuit –[13]

Вам нравится? (И, не давая ответить:) – Тогда я вам еще дальше скажу:

Un baiser sur le front! Tout mon être frisonne,
On dirait que mon sang va remonter son cours…
Enfant! – ne dites plus Vos rêves à personne
Et ne rêvez jamais… ou bien – rêvez toujours![14]

Правда, пронзает? Тот француз, которому я писала это сочинение, был немножко в меня… Впрочем, вру: это была француженка, и я была в нее…

– Товарищ Эфрон! (Шепот почти над ухом. Вздрагиваю. За плечом мой «белый негр», весь красный. В руке хлеб.) – Вы не обедали, может хотите? Только предупреждаю, с отрубями…

– Но вам же самой, я так смущена…

---

[13] «Девушке, рассказавшей свой сон».
Поцелуй… в лоб! Поцелуй – лишь во сне!
Но недавний поцелуй слетает с моего грустного лба…
Но из лета никогда не вернуться живительному соку,
И заря никогда не одолеет ночь (*фр*.).

[14] Поцелуй в лоб! Все мое существо дрожит,
И кажется, кровь возобновляет свой круг…
Дитя! – Не рассказывайте Ваших снов никому
И не грезьте никогда – или – мечтайте всегда! (*фр*.)·

– А вы думаете… (морда задорная, в каждой бараньей кудре – вызов)… я его на Смоленском покупала? Мне Филимович с Восточного стола дал, – пайковый, сам не ест. Половину съела, половину вам. Завтра еще обещал. А целоваться все равно не буду!

(Озарение: завтра же подарю ей кольцо – то, тоненькое с альмандином. Альмандин – Алладин – Альманзор – Альгамбра – …с альмандином. Она хорошенькая, и ей нужно. А я все равно не сумею продать.)

Дон. – Дон. – Не река-Дон, а звон. Два часа. И – новое озарение: сейчас придумаю срочность и уйду. Про белогвардейцев сейчас кончу – и уйду. Быстро и уже без лирических отступлений (я – вся такое отступление!) осыпаю серую казенную бумагу перлами своего почерка и виперами своего сердца. Только ять выскакивает, контрреволюционное, в виде церковки с куполом. – Ять!!! – «Товарищ Керженцев кончает свою статью пожеланием генералу Деникину верной и быстрой виселицы. Пожелаем же и мы, в свою очередь, товарищу Керженцеву»…

– Сахарин! Сахарин! На сахарин запись! – Все вскакивают. Надо воспользоваться чужим сластолюбием в целях своего свободолюбия. Вкрадчиво и нагло подсовываю Иванову свои вырезки. Накрываю половинкой бело-негрского хлеба. (Другая половинка – детям.)

– Товарищ Иванов, я сейчас уйду. Если М<илле>р спросит, скажите, в кухне, воду пью.

– Идите, идите.

Сгребаю черновую с Казановой, кошелку с 1 ф<унтом > соли… и боком, боком…

– Товарищ Эфрон! – нагоняет меня уже возле рыцарей. Я завтра совсем не приду. Очень бы вас просил, приходите – ну – хотя бы к 10½ часам. А послезавтра, тогда, совсем не приходите. Вы меня крайне выручите. Идет?

– Есть!

Тут же, при недоумевающих швейцарах, молодцевато отдаю честь, и гоном – гоном – белогвардейской колоннадой, по оснеженным цветникам, оставляя за собой и национальности, и сахарин, и эсперанто, и Наташу Ростову – к себе, к Але, к Казанове: домой!

Из «Известий»:

«Господство над морем – господство над миром!»

(Упоена как стихом.)

9/23 января (Известия Ц.И.К. «Наследник»).

Кто-то читает: «Малолетний сын Корнилова, Георгий, назначен урядником в Одессе».

Я, сквозь общий издевательский хохот, невинно:

– Почему урядником? Отец же не служил в полиции!

(А в груди клокочет.)

Чтец: – Ну там, знаете, они все жандармы!

(Самое трогательное, что ни коммунист, ни я в ту минуту и не подозревали о существовании казачьих урядников.)

В нашем Наркомнаце есть домашняя церковь, – соллогубовская, конечно. Рядом с моей розовой залой. Недавно с «белым негром» прокрались. Тьма, сверкание, дух как из погреба. Стояли на хорах. «Белый негр» крестился, я больше думала о предках (привидениях!). В церкви мне хочется молиться только, когда поют. А Бога в помещении вообще не чувствую.

Любовь – и Бог. Как это у них спевается? (Любовь, как стихия любовного. Эрос земной.) Кошусь на своего белого негра: молится, глаза невинные. С теми же невинными глазами, теми же моленными устами…

Если бы я была верующей и если бы я любила мужчин, это во мне бы дралось, как цепные собаки.

Отец моего «белого негра» служит швейцаром в одном из домов (дворцов), где часто бывает Ленин (Кремль). И мой «белый негр», часто бывая на службе у отца, постоянно видит Ленина. – «Скромный такой, в кепке».

Белый негр – белогвардеец, то есть, чтобы не смешивать: любит белую муку, сахар и все земные блага. И, что уже серьезнее, горячо и глубоко богомолен.

– Идет он мимо меня, М<арина> И<вановна>, я: «Здрасьте, Владимир Ильич!» – а сама (дерзко-осторожный взгляд вокруг): – Эх, что бы тебя, такого-то, сейчас из револьвера! Не грабь церквей! (разгораясь): – И знаете, М<арина> И<вановна>, так просто, вынула револьвер из муфты и ухлопала!.. (Пауза). – Только вот стрелять не умею… И папашу расстреляют…

Попади бы мой негр в хорошие руки, умеющие стрелять и умеющие учить стрелять, и, что больше, – умеющие губить и не жалеть – э – эх!..

Есть у нас в комиссариате одна старая дева – тощая – с бантом – влюбленная в своих великовозрастных братьев-врачей, достающая им по детским карточкам шоколад, – проныра, сутяга, между прочим, знающая языки («такая семья»), и т. д. Когда она слышит о чьей-нибудь болезни, то – с непоколебимой уверенностью – и точно отрубая что-то рукой – определяет: «Заразилась», или «Заразился», смотря по тому, идет ли речь о лице женского или мужского пола.

Тиф или ишиас – у нее всё с<ифи>лис.

Стародевический психоз.

А есть другая – пухлая, сырая, бабушкина внучка, подружка моего белого негра, провинциалочка. Это совсем трогательная девочка. Только недавно приехала из Рыбинска. Дома остались бабушка и братец. Двойной и неистощимый кладезь блаженств.

– Наша бабушка такая: маленьких детей не выносит. Грудного нипочем на руки не возьмет: запах, говорит, от них и беспокойство. Ну, а подрастут – ничего. Нарядит, научит. Меня с шестого года растила. «Кушать хочешь?» – «Хочу» – «Ну, иди на кухню, смотри, как обед готовится». Так я с десяти лет уж решительно все умела (оживляясь): не только пироги там, котлеты, – и паштеты, и заливное, и торты… Так же и с шитьем: «Ты девочка, тебе женщиной быть, хозяйкой, детей мужа обшивать». Я – бегать, она меня за ручку да на скамеечку: «платки подрубай», «полотенца меть», а война началась – на раненых. Сама кроила, сама шила. Потом папаша женился – сиротка я – братец народился, все приданое ему сама… Все пеленки с меточками, гладью… А одеяльце его, в чем гулять выносят, так все моим кружевом обшито, в четыре пальца, кремовое… (Блаженно:) – Ведь бабушка меня и вязать и гладью… Пяльцы мне собственные заказала… Мы богато жили! А всё сама! И бабушка сама, и я сама… Я не могу, чтобы руки зря лежали!

Смотрю на руки: ручки: золотые! Маленькие, пухлые: стройные востроватые пальчики. Крохотное колечко с бирюзинкой. Был жених, недавно расстрелян в Киеве.

– Мне его приятель писал, тоже студент-медик. Выходит мой Коля из дому, двух шагов не прошел – выстрелы. И прямо к его ногам человек падает. В крови. А Коля – врач, не может же он раненого оставить. Оглянулся: никого. Ну и взял, стащил к себе в дом, три дня выхаживал. – Офицер

белый оказался. А на четвертый пришли, забрали обоих, вместе и расстреляли…

Ходит в трауре. Лицо из черноты землисто-серое. Недоедание, недосыпание, одиночество. Тошная, непонятная, непривычная работа в Комиссариате. Призрак жениха. Беспризорность.

Бедная тургеневская мещаночка! Эпическая сиротка русских сказок! Ни в ком, как в ней, я так не чувствую великого сиротства Москвы 1919 г. Даже в себе.

Недавно заходила ко мне, стояла над моими развороченными сундуками: студенческий мундир, офицерский френч, сапоги, галифе, – погоны, погоны, погоны…

– Марина Ивановна, вы лучше закройте. Закройте и замок повесьте. Пыль набивается, летом моль съест… Может, еще вернется…

И, задумчиво разглаживая какой-то беспомощный рукав:

– Я бы так не могла. Совсем как человек живой… Я и сейчас плачу…

Недавно были с ней в оперетке: она, «белый негр» и я (в первый раз в жизни). Напевы милые, стихи плохие. Сух и жесток русский язык в польских устах. Но… какая-то любовь, но… вне селедок и кошелок, но… свет, смех, жест!

Убожество? Но мне чем хуже – тем лучше. «Настоящее искусство» меня бы сейчас оскорбило. Все требования бы встали: «я не скот!»

А так – подделка за подделку: после фарса советского – полусветский фарс.

Два слова еще о моей «невесте». С глазами, заплаканными по жениху (чудесные, карие), часами и жалобно выматывает себе и окружающим душу: «Я так люблю все жирное и слад-

кое… Я раньше гораздо полнее была… Я без сливочного масла жить не могу… Мне мороженая картошка в рот не идет»…

О ты, единственное блюдо
Коммунистической страны!

(Стих о вобле в меньшевицкой газете «Всегда вперед»).

Мой помощник.

Наш стол обогатился новым сотрудником (собездельником было бы точней). Богатырь, малиновый налив, волжанин. Вечно и зверски голоден. За обедом безнадежно просит надбавки: молча подставленная тарелка кротко и упорно вопиет. Ест всё.

Собой красавец: восемнадцать лет, румянец такой, что жарко рядом сидеть: пещь! Безбород и безус. Робок. Боится двинуться – знает, что сокрушит. Боится кашлянуть – знает, что оглушит.

Робость и кротость великана. У меня к нему нежность, как к огромному теленку: безнадежная, потому что дать – нечего.

Узрев его впервые у стола – уральского ведмедя над кружевом «Известий», мы с Ивановым одновременно усмехнулись. Что думал Иванов – не знаю, я же в ту секунду знала: «Завтра не приду, и послезавтра не приду, и послепослезавтра не приду. Буду стирать и писать».

Не приходила не три дня, а шесть. На седьмой являюсь. Стол чист – ни одной вырезки: как языком слизано. Иванова – ни признака. Медведь, расставив локти, один царствует.

Я, обеспокоено:

– А где Иванов? Где вырезки?

Медведь, сияя:

– Иванова я с тех пор в глаза не видал! Я здесь целую неделю один восседал.

Я, в ужасе:

– Но вырезки? Журнал вели?

Он, блаженно:

– Какое – журнал! Всё в корзине! Попытался было – перо плохое, бумага праховая, пишу – сам не разбираю. И такой сон на меня напал… К весне, должно быть.

(Я, мысленно: «Врешь, медведь, к зиме»!)

Он, продолжая:

– Ну, думаю, была-не была! Сгреб это я их, простыни-то эти, и в корзину. Утром прихожу – пусто. Должно быть, уборщица сожгла. И каждый день так. Маленькие все целы, для вас берег.

Выдвигает ящик: сонм белых бабочек!

И я, обольщенная строчкой и уже оторвавшись: мысленно:

«Сонм белых бабочек! Раз, две… четыре»…

(– нет! –)

Сонм белых девочек! Раз, две… четыре…
Сонм белых девочек! Да нет – в эфире
Сонм белых бабочек! Прелестный сонм
Великих маленьких княжон…

и, отрываясь, к «сотруднику»:

– Сейчас мы все это восстановим… (мысленно: кроме великих княжон!) – разберите хронологически.

Он:

– Как это?

Я: – По числам. Ну, 5-ое февраля. Римское II – это февраль, Вам ясно? I – январь. II – февраль…

Не дышит и не мигает.

– Тогда, постойте… Тогда просто пишите письмо домой. Берите перо и пишите: «Милая мама, мне здесь очень скучно и голодно»… В этом роде, или наоборот: «Мне здесь очень весело и сытно». Потому что, иначе она огорчится. А я сейчас буду восстанавливать статьи Стеклова и Керженцева.

Он, восхищенно: – Из головы?!

Я: – Не из сердца же!

И, махом: «В статье от 5-го февраля 1919 г. „Белогвардейщина и белый слон“[15] товарищ Керженцев утверждает»…

Перекочевываем на новое пепелище, – из дома Ростовых в Иерусалимское подворье. Целых десять дней перебираемся. Докрадываем остатки ростовско-соллогубовского добра. Я взяла себе на память тарелку с гербом. В кирпично-красном поле-борзая. Лирическая кража, даже рыцарская: тарелка не глубокая и не мелкая, по нынешнему времени – явно для полужидкой воблы, а дома у меня на ней будет стоять чернильница.

Бедные соллогубовские эльзевиры! В раскрытых ящиках! Под дождем! Пергаментные переплеты, французские витиеватые литеры… Свозят возами. Библиотечной комиссией заведует Брюсов.

Везут: диваны, комоды, люстры. Рыцари мои остаются. Вписанные в стену портреты, кажется, тоже. На месте – дележ. Ревностный спор «столов».

– Это нашему заведующему!

– Нет, нашему!

– У нас уж стол карельской березы, к нему и кресло.

– Вот именно потому, что у вас стол, у нас будет кресло!

– Но нельзя же разбивать гарнитур!

Я, сентенциозно:

---

[15] Никогда не существовавшей! (примеч. М. Цветаевой).

– Можно разбивать только головы! «Столы» бескорыстны, – мы все равно ничего не получим. Все в кабинеты заведующих. Влетает мой белый негр:

– Товарищ Эфрон! Если бы вы знали, как у Ц-лера хорошо! Секретер красного дерева, ковер, бронзовые бра! Точно в старое время! Хотите, посмотрим?

Бежим через этажи. Комната №… Отдел такой-то… Кабинет заведующего. Входим. Негр торжествующе:

– Ну?

– Еще бы подушку под ноги и болонку…

– Будет с него и кота! В глазах веселящийся бес.

– Товарищ Эфрон! Поймаем ему кота! Тут в 18-ой квартире есть. А?

Я, лицемерно:

– Но он здесь все загадит.

– Вот этого-то я и хочу! Громилы проклятые! Через три минуты кот выкраден и заперт. «Служба» кончена. Летим, родства не помня, со всех шести этажей.

– Товарищ Эфрон! Малиновая оттоманка-то, а?

– А графинины ковры-то, а?

Вдогон диаболическое мяуканье мстителя.

Три насущных М.

– Ну, как довезли картошку?

– Да ничего, муж встретил.

– Вы знаете, надо в муку прибавлять картошку: $^2/_3$ картошки, $^1/_3$ муки.

– Правда? Нужно будет сказать матери. У меня: ни матери, ни мужа, ни муки.

Мороженая картошка.

– Товарищ Эфрон! Картошку привезли! Мороженая!

Узнаю, конечно, позже всех, но дурные вести – всегда слишком рано.

«Наши» уехали в экспедицию, сулили сахарные россыпи и жировые залежи, проездили два месяца и привезли… мороженую картошку! По три пуда на брата. Первая мысль: как довезти? Вторая: как съесть? Три пуда гнили.

Картошка в подвале, в глубоком непроглядном склепе. Картошка сдохла, и ее похоронили, а мы, шакалы, разроем и будем есть. Говорят, привезли здоровую, но потом вдруг кто-то «запретил», а пока запрет сняли, картошка, сперва замерзнув, затем оттаяв, сгнила. На вокзале пролежала три недели.

Бегу домой за мешками и санками. Санки – Алины, детские, бубенцовые, с синими вожжами, – мой подарок ей из Владимирского Ростова. Просторное плетение корзиночкой, спинка обита кустарным ковром. Только двух собак запрячь – и айда! – в северное сияние…

Но собакой служила я, северное сияние же оставалось позади: ее глаза! Ей тогда было два года, она была царственна. («Марина, подари мне Кремль!» – пальцем указывая на башни.) Ах, Аля! Ах, санки по полуденным переулкам! Моя тигровая шуба (леопард? барс?), которую Мандельштам, влюбившись в Москву, упорно величал боярской. Барс! Бубенцы!

У подвала длинный черед. Обмороженные ступени лестницы. Холод в спине: как втащить? Свои руки, – в эти чудеса я верю, но… три пуда вверх! По тридцати упирающимся и отбрасывающим ступеням! Кроме того, один полоз сломан. Кроме того, я не уверена в мешках. Кроме всего, я так веселюсь, что – умри! – не помогут.

Впускают партиями: по десяти человек. Все – парами, мужья прибежали со своих служб, матери приплелись. Оживленные переговоры, планы: тот обменяет, этот два пуда

насушит, третий в мясорубку пропустит (это три пуда-то?!) – есть собираюсь, очевидно, только я.

– Товарищ Эфрон, добавочные брать будете? На каждого члена семьи полпуда. У вас есть удостоверение на детей? Кто-то:

– Не советую! Там одна слизь осталась. Кто-то еще:

– Загнать можно!

Продвигаемся. Охи, вздохи, временами – смех: в темноте чьи-то руки встретились: мужская с женской. (Мужская с мужской – не смешно.) Кстати, откуда это веселящее действие Эроса на малых сих? Вызов? Самооборона? Скудость средств выявления? Робость под прикрытием легкости? Дети ведь, испугавшись, тоже часто смеются. «L'amour n'est ni joyeux ni tendre».[16]

А может быть – верней всего – никакого amour, просто неожиданность: мужская с мужской – ругань, мужская с женской – смех. Неожиданность и безнаказанность.

Говорят о предстоящем суде над сотрудниками, – представили огромные счета и на закупленное и на прожитое: какие-то постои, подводы, извозчики… Себе, конечно, навезли всего.

– Вы заметили, как такой-то отъелся?

– А такой-то? Щеки лопаются!

Впустили. Навстречу ошалелая вереница санок. Полозья по ногам. Окрики. Тьма. Идем по лужам. Запах поистине тлетворный.

– Да посторонитесь же!!!

– Товарищ! Товарищ! Мешок лопнул!

Хлипь. Хлябь. Ноги уходят по щиколку. Кто-то, тормозя весь цуг, яростно разувается: валенки насквозь! Я давно уже не чувствую ног.

---

[16] Любовь – не веселье и нежность (*фр.*).

– Да свет-то когда-нибудь – будет?!

– Товарищи! Удостоверение потеряла! Ради всего святого – спичку!

Вспыхивает. Кто-то на коленях, в воде, беспомощно разгребает слизь.

– Да вы в карманах поищите! – Вы, может, дома забыли? – Да разве тут найдешь?! – Продвигайтесь! Продвигайтесь! – Товарищи, встречная партия! Берегись!!!

И – прогал. Прогал и водопад. Квадратная дыра в потолке, сквозь которую дождь и свет. Хлещет, как из дюжины труб. – Потонем! – Прыжки, скачки, кто-то мешок упустил, у кого-то в проходе санки завязли. – Господи!

Картошка на полу: заняла три коридора. В конце, более защищенном, менее гнилая. Но иного пути к ней, кроме как по ней же, нет. И вот: ногами, сапогами… Как по медузьей горе какой-то. Брать нужно руками: три пуда. Не оттаявшая слиплась в чудовищные гроздья. Я без ножа. И вот, отчаявшись (рук не чувствую) – какую попало: раздавленную, мороженую, оттаявшую… Мешок уже не вмещает. Руки, окончательно окоченев, не завязывают. Пользуясь темнотой, начинаю плакать, причем тут же и кончаю.

– На весы! На весы! Кому на весы?!

Взваливаю, тащу.

Развешивают два армянина, один в студенческом, другой в кавказском. Белоснежная бурка глядит пятнистой гиеной. Точно архангел коммунистического Страшного Суда! (Весы заведомо врут!)

– Товарищ барышна! Не задерживай публику! Ругань, пинки. Задние напирают. Я загромоздила весь проход. Наконец, кавказец, сжалившись – или рассердившись, откатывает мой мешок ногой. Мешок, слабо завязанный, рассыпается. Клюканье. Хлипанье. Терпеливо и не торопясь подбираю.

Обратный путь с картошкой. (Взяла только два пуда, третий утаила.) Сначала беснующимися коридорами, потом сопротивляющейся лестницей, – слезы или пот на лице, не знаю.

> И не знаю, дождь иль слезы
> На лице горят моем…

Может, и дождь! Дело не в этом! Полоз очень слаб, расщепился посредине, навряд ли доедем. (Не я везу санки, вместе везем. Санки – сподвижник по беде, а беда – картошка. Собственную беду везем!)

Боюсь площадей. Арбатской не миновать. Можно было с Пречистенского переулками, но там спуталась бы. Ни снега, ни льда: везу по воде, местами – по сухому. Задумчиво любуюсь на булыжники, уже розовые…

– О, как все это я любила!

Вспоминаю Стаховича. Увидь он меня сейчас, я бы неизбежно сделалась для него предметом гадливости. Все. вплоть до лица, в подтеках. Я не лучше собственного мешка. Мы с картошкой сейчас – одно.

– Да куда ты пре-ешь! Нешто это можно – прямо на людей?! Буржуйка бесхвостая!

– Конечно, бесхвостая, – только черти хвостатые! Кругом смех.

Солдат, не унимаясь:

– Ишь, шляпку нацепила! А морду-то умыть…

Я, в тон, указывая на обмотки:

– Ишь, тряпки нацепил!

Смех растет. Я, не желая упустить диалога, останавливаюсь, якобы поправляя мешок.

Солдат, расходясь:

– Высший класс называется! Интеллихенция! Без прислуги лица умыть не могут!

Какая-то баба, визгливо:

– А ты мыла дай! Мыло-то кто измылил? Почем мыло-то на Сухаревой, знаешь? Кто-то из толпы:

– Чего ему знать? Ему казенное идет! А вы, барышня, картошку везете?

– Мороженую. На службе дали.

– Известно, мороженую, – хорошая-то самим нужна! Подсобить, что ли?

Толкает, вожжи напрягаются, еду. Позади голос бабы – солдату:

– Что ж она, что в шляпе, не человек, что ль?

Рас-су-ди-ил!

Итог дня: два чана картошки. Едим все: Аля, Надя, Ирина, я.

Надя – Ирине, лукаво:

– Кушай, Ирина, она сладкая, с сахаром.

Ирина, тупясь и отворачиваясь: – Ннне…

---

20 марта.

Вместо «Монпленбеж», задумавшись, пишу «Монплэзир» (Monplaisir – нечто вроде маленького Версаля в XVIII в.).

Благовещение 1919 г.

Цены:

1 ф<унт> муки – 35 р<ублей>
1 ф<унт> картошки – 10 р<ублей>
10 ф<унтов> моркови – 7 р<ублей> 50 к<опеек>
1 ф<унт> луку – 15 р<ублей>
селедка – 25 р<ублей>

(Жалование – ставки у нас еще не прошли – 775 руб<лей> в месяц.)

25-го апреля 1919 г.

Ухожу из Комиссариата. Ухожу, потому что не могу составить классификации. Пыталась, из жил лезла, – ничего. Не понимаю. Не понимаю, чего от меня хотят: «Составьте, сопоставьте, рассортируйте… Под каждым делением – подразделение». Все в одно слово, как спелись. Опросила всех: от заведующего отделом до одиннадцатилетнего курьера – «Совсем просто». И, главное, никто не верит, что не понимаю, смеются.

Наконец, села к столу, обмакнула перо в чернила, написала: «Классификация», потом, подумав: «Деления», потом еще, подумав: «Подразделения». Справа и слева. Потом застыла.

Прослужила $5^1/_2$ месяцев, еще бы две недели – и отпуск (с зачетом жалованья). Но не могу. И вырезки за три месяца не наклеены. И на ять начинают поглядывать: «Неужели, товарищ, еще не привыкли?»… Классификацию нужно представить к 28-му. Последний срок. Нужно отдать справедливость, коммунисты доверчивы и терпеливы. В старорежимном учреждении меня бы, сразу разглядев, сразу выгнали. Здесь я сама подаю в отставку.

Заведующий М<илле>р, прочтя мое заявление, коротко:

– Лучшие условия?

– Военный паек и льготные обеды на всех членов семьи. (Молниеносный и наглейший вымысел.)

– Тогда не смею задерживать. Только не прогадайте: такие учреждения быстро рушатся.

– Я ответственным работником.

– По чьей рекомендации?

– Двух членов партии до Октября.

– Чем поступаете?

– Переводчиком.

– Переводчики очень нужны. Желаю успеха. Выхожу.

Уже в дверях – оклик:

– Товарищ Эфрон, классификацию, конечно, представите? Я, умоляюще:

– Все материалы налицо… Мой заместитель легко справится… Уж лучше вычтите из жалованья!

Не вычли. Нет, руку на сердце положа, от коммунистов я по сей день, лично, зла не видела. (Может быть – злых не видела!) И не их я ненавижу, а коммунизм. (Вот уж два года, как со всех сторон слышу: «Коммунизм прекрасен, коммунисты – ужасны!» В ушах навязло!)

Но, возвращаясь к классификации (озарение: не к ней ли сводится весь коммунизм?!) – точь-в-точь то же, что пятнадцати лет с алгеброй (семи – с арифметикой!). Полные глаза и пустой лист. То же, что с кройкой – не понимаю, не понимаю: где влево, где вправо, в висках винт, во лбу свинец. То же, что с продажей на рынке, когда-то – с наймом прислуги, со всем моим стопудовым земным бытом: не понимаю, не могу, не выходит.

Думаю, если бы других заставили писать «Фортуну», они бы почувствовали точно то же, что я.

Поступаю в Монпленбеж, – в Картотеку.

26-го апреля 1919 г.

Только что вернулась, и вот, великая клятва: не буду служить. Никогда. Хоть бы умерла.

Было так. Смоленский бульвар, дом в саду. Вхожу. Комната как гроб. Стены из карточек: ни просвета. Воздух бумажный (не книжный, благородный, а – праховый. Так, разница между библиотекой и картотекой: там храмом дышишь, здесь – хламом!). Устрашающе-нарядные барышни (сотрудницы). В бантах и в «ботах». Разглядят – запрезирают. Сижу против решетчатого окна, в руках русский алфавит. Карточки надо разобрать по буквам (все на А, все на Б), потом по вторым буквам, то есть: Абрикосов, Авдеев, потом по третьим. Так с 9-ти утра до 5½ вечера. Обед дорогой, есть не придется. Раньше давали то-то и то-то, теперь ничего не дают. Пасхальный паек пропущен. Заведующая – коротконогая сорокалетняя каракатица, в корсете, в очках, страшная. Чую бывшую инспектрису и нынешнюю тюремщицу. С язвительным простосердечием изумляется моей медлительности: «У нас норма – двести карточек в день. Вы, очевидно, с этим делом не знакомы»…

Плачу. Каменное лицо и слезы как булыжники. Это скорей похоже на тающего оловянного идола, чем на плачущую женщину. Никто не видит, потому что никто не поднимает лба: конкурс на быстроту:

– У меня столько-то карточек!

– У меня столько-то!

И вдруг, сама не понимая, встаю, собираю пожитки, подхожу к заведующей:

– Я сегодня не записалась на обед, можно сходить домой?

Зоркий очкастый взгляд:

– Вы далеко живете?

– Рядом.

– Но чтобы через полчаса были здесь.

У нас это не полагается.

– О, конечно.

Выхожу – все еще статуей. На Смоленском рынке слезы – градом. Какая-то баба, испуганно:

– Ай обокрали тебя, а, барышня! И вдруг – смех! Ликованье! Солнце во все лицо! Конечно. Никуда. Никогда.

Не я ушла из Картотеки: ноги унесли! Душа – ноги: вне остановки сознания. Это и есть инстинкт.

ЭПИЛОГ

7-го июля 1919 г.

Вчера читала во «Дворце Искусств» (Поварская, 52, д<ом> Соллогуба, моя бывшая служба) – «Фортуну». Меня встретили хорошо, из всех читавших – одну – рукоплесканиями. (Оценка не меня, а публики.)

Читали, кроме меня: Луначарский – из швейцарского поэта Карла Мюллера, переводы; некий Дир Туманный – свое собственное, т. е. Маяковского, – много Диров Туманных и сплошь Маяковский!

Луначарского я видела в первый раз. Веселый, румяный, равномерно и в меру выпирающий из щеголеватого френча. Лицо средне-интеллигентское: невозможность зла. Фигура довольно круглая, но «легкой полнотой» (как Анна Каренина). Весь налегке.

Слушал, как мне рассказывали, хорошо, даже сам шипел, когда двигались. Но зала была приличная.

«Фортуну» я выбрала из-за монолога в конце:

> …Так вам и надо за тройную ложь
> Свободы, Равенства и Братства!

Так отчетливо я никогда не читала.

…И я, Лозэн, рукой белей чем снег,
Я подымал за чернь бокал заздравный!
И я, Лозэн, вещал, что полноправны
Под солнцем – дворянин и дровосек!

Так ответственно я никогда не дышала. (Ответственность! Ответственность! Какая услада сравнится с тобой! И какая слава?! Монолог дворянина – в лицо комиссару, – вот это жизнь! Жаль только, что Луначарскому, а не… хотела написать Ленину, но Ленин бы ничего не понял, – а не всей Лубянке, 2!)

Чтению я предпослала некое введение: кем был Лозэн, чем стал и от чего погиб.

По окончании стою одна, с случайными знакомыми. Если бы не пришли, – одна. Здесь я такая же чужая, как среди квартирантов дома, где живу пять лет, как на службе, как когда-то во всех семи русских и заграничных пансионах и гимназиях, где училась, как всегда – везде.

Читала в той самой розовой зале, где служила. Люстра просияла (раньше была в чехле). Мебель выплыла. Стены прозрели бабками. (И люстры, и мебель, и прабабки, и предметы роскоши, и утварь – вплоть до кухонной посуды, – все обратно отбито «Дворцом Искусств» у Наркомнаца. Плачьте, заведующие!)

В одной из зал – прелестная мраморная Психея. Настороженность души и купальщицы. Много бронзы и много тьмы. Комнаты насыщены. Тогда, в декабре, они были голодные: голые. Такому дому нужны вещи. Вещи здесь меньше всего – вещественность. Вещь непродажная – уже знак. А за знаком – неминуемо – смысл. В таком доме они – смыслы.

Поласкалась к своим рыцарям.

14-го июля 1919 г.

Третьего дня узнала от Б<альмон>та, что заведующий «Дворцом Искусств», Р<укавишник>ов, оценил мое чтение «Фортуны» – оригинальной пьесы, нигде не читанной, чтение длилось 45 мин<ут>, может больше, – в 60 руб<лей>.

Я решила отказаться от них – публично – в следующих выражениях: «60 руб<лей> эти возьмите себе – на 3 ф<унта> картофеля (может быть, еще найдете по 20 руб<лей>!) – или на 3 ф<унта> малины – или на 6 коробок спичек, а я на свои 60 руб<лей> пойду у Иверской поставлю свечку за окончание строя, при котором так оценивается труд».

Москва, 1918–1919

О ЛЮБВИ
(Из дневника)

1917 год

Для полной согласованности душ нужна согласованность дыхания, ибо, что – дыхание, как не ритм души?

Итак, чтобы люди друг друга понимали, надо, чтобы они шли или лежали рядом.

Благородство сердца – оргáна. Неослабная настороженность. Всегда первое бьет тревогу. Я могла бы сказать: не любовь вызывает во мне сердцебиение, а сердцебиение – любовь.

Сердце: скорее оргáн, чем óрган.

Сердце: лот, лаг, отвес, силомер, реомюр – всё, только не хронометр любви.

«Вы любите двоих, значит, Вы никого не любите!» – Простите, но если я, кроме Н., люблю еще Генриха Гейне, Вы же не скажете, что я того, первого, не люблю. Значит, любить одновременно живого и мертвого – можно. Но представьте себе, что Генрих Гейне ожил и в любую минуту может войти в комнату. Я та же, Генрих Гейне – тот же, вся разница в том, что он может войти в комнату.

Итак: любовь к двум лицам, из которых каждое в любую минуту может войти в комнату, – не любовь. Для того, чтобы одновременная моя любовь к двум лицам была любовью, необходимо, чтобы одно из этих лиц родилось на сто лет рань-

ше меня, или вовсе не рождалось (портрет, поэма). – Не всегда выполнимое условие!

И все-таки Изольда, любящая еще кого-нибудь, кроме Тристана, немыслима, и крик Сары (Маргариты Готье) – «О, л'Амур! Л'Амур!», относящийся еще к кому-нибудь, кроме ее молодого друга, – смешон.

Я бы предложила другую формулу: женщина, не забывающая о Генрихе Гейне в ту минуту, когда входит ее возлюбленный, любит только Генриха Гейне.

«Возлюбленный» – театрально, «любовник» – откровенно, «друг» – неопределенно. Нелюбовная страна!

Каждый раз, когда узнаю, что человек меня любит – удивляюсь, не любит – удивляюсь, но больше всего удивляюсь, когда человек ко мне равнодушен.

Старики и старухи.

Бритый стройный старик всегда немножко старинен, всегда немножко маркиз. И его внимание мне более лестно, больше меня волнует, чем любовь любого двадцатилетнего. Выражаясь преувеличенно: здесь чувство, что меня любит целое столетие. Тут и тоска по его двадцати годам, и радость за свои, и возможность быть щедрой – и вся невозможность. Есть такая песенка Беранже:

…Взгляд твой зорок…
Но тебе двенадцать лет,
Мне уж сорок.

Шестнадцать лет и шестьдесят лет совсем не чудовищно, а главное – совсем не смешно. Во всяком случае, менее смешно, чем большинство так называемых «равных» браков. Возможность настоящего пафоса.

А старуха, влюбленная в юношу, в лучшем случае – трогательна. Исключение: актрисы. Старая актриса – мумия розы.

– …И была промеж них такая игра. Он ей поет – ее аккурат Марусей звали – «Маруся ты, Маруся, закрой свои глаза», а она на постелю ляжет, простынею себя накроет – как есть покойница.

Он к ней: «Маруся! Ты не умри совсем! Маруся! Ты взаправду не умри!» – Кажный раз до слез доходил. – На одной фабрике работали, ей пятнадцать годочков было, ему шешнадцать…

(Рассказ няньки.)

– А у меня муж, милые: бы – ыл!!! Только и человецкого, что обличие. Ничего не ел, всё пил. Подушку мою пропил, одеяло с девками прогулял. Всё ему, милые, скушно: и работать скушно, и со мной чай пить скушно. А собой хорош, как демон: волоса кучерявые, брови ровные, глаза синие… – Пятый год пропадает!

(Нянька – подругам.)

Первый любовный взгляд – то кратчайшее расстояние между двумя точками, та божественная прямая, которой нет второй.

Из письма:

«Если бы Вы сейчас вошли и сказали: „Я уезжаю надолго, навсегда“, – или: „Мне кажется, я Вас больше не люблю“, – я бы, кажется, не почувствовала ничего нового: каждый раз, когда Вы уезжаете, каждый час, когда Вас нет – Вас нет навсегда и Вы меня не любите».

В моих чувствах, как в детских, нет степеней.

Первая победа женщины над мужчиной – рассказ мужчины о его любви к другой. А окончательная ее победа – рассказ этой другой о своей любви к нему, о его любви к ней. Тайное стало явным, ваша любовь – моя. И пока этого нет, нельзя спать спокойно.

Все нерассказанное – непрерывно. Так, непокаянное убийство, например, – длится. То же о любви.

Вы не хотите, чтобы знали, что вы такого-то любите? Тогда говорите о нем: «я его обожаю!» Впрочем, некоторые знают, что это значит.

Рассказ.

– Когда мне было восемнадцать лет, в меня был безумно влюблен один банкир, еврей. Я была замужем, он женат. Толстый такой, но удивительно трогательный. Мы почти никогда не оставались одни, но когда это случалось, он мне говорил только одно слово: «Живите! Живите!» – И никогда не целовал руки. Однажды он устроил вечер, нарочно для меня, назвал прекрасных танцоров – я тогда страшно любила

танцевать! Сам он не мог танцевать, потому что был слишком толст. Обыкновенно он на таких вечерах играл в карты. В этот вечер он не играл.

(Рассказчице тридцать шесть лет, пленительна.)

– «Только живите!» Я уронила руки,
Я уронила на руки жаркий лоб…
Так молодая Буря слушает Бога
Где-нибудь в поле, в какой-нибудь темный час.
И на высокий вал моего дыханья
Властная вдруг – словно с неба ложится длань.
И на уста мои чьи-то уста ложатся.
Так молодую Бурю слушает – Бог.

(Nachhall, отзвук.)

Гостиная – поле, вчерашняя смолянка – Буря, толстый банкир – Бог. Что уцелело? Да вот то одно слово, которое банкир говорил институтке и Бог в первый день – всему: «Живите!»

«Будь» единственное слово любви, человеческой и божеской. Остальное: гостиная, поле, банкир, институтка – частности.

Что же уцелело? – Всё.

Лучше потерять человека всем собой, чем удержать его какой-то своей сотой.

Полководец после победы, поэт после поэмы – куда? – к женщине. Страсть – последняя возможность человеку высказаться, как небо – единственная возможность быть – буре.

Человек – буря, страсть – небо, ее растворяющее.

О, поэты, поэты! Единственные настоящие любовники женщин!

Желание вглубь: вглубь ночи, вглубь любви. Любовь: провал во времени.

«Во имя свое» любовь через жизнь, «во имя твое» – через смерть.

«Старуха… Что я буду делать со старухой??!» – Восхитительная – в своей откровенности – формула мужского.

«Зачем старухи одеваются? Это бессмысленно! Я бы заказал им всем одинаковый… „юниформ“, а так как они все богаты, я бы создал кассу, из которой бы одевал – и очень хорошо одевал бы! – всех молодых и красивых».

– Не мешай мне писать о тебе стихи!

– Помешай мне писать стихи о себе!

В промежутке – вся любовная гамма поэта.

Третье лицо – всегда отвод. В начале любви – от богатства, в конце любви – от нищеты.

История некоторых встреч. Эквилибристика чувств.

Рассказ юнкера: … «объясняюсь ей в любви, конечно, напеваю…»

Любовность и материнство почти исключают друг друга. Настоящее материнство – мужественно.

Сколько материнских поцелуев падает на недетские головы – и сколько нематеринских – на детские!

Страстная материнская любовь – не по адресу.

Там, где я должна думать (из-за других) о поступке, сочинять его, он всегда нецелен – начат и не кончен – не объясним – не мой. Я точно запомнила А и не помню Б – и сразу, вместо Б – мои блаженные иероглифы!

Разговор:

Я, о романе, который хотела бы написать: «Понимаете, в сыне я люблю отца, в отце – сына… Если Бог пошлет мне веку, я непременно это напишу!»

Он, спокойно: «Если Бог пошлет вам веку, вы непременно это сделаете».

О Песни Песней:

Песнь Песней действует на меня, как слон: и страшно и смешно.

Песнь Песней написана в стране, где виноград – с булыжник.

Песнь Песней: флора и фауна всех пяти частей света в одной-единственной женщине. (Неоткрытую Америку – включая.)

Лучшее в Песни Песней, это стих Ахматовой:

«А в Библии красный кленовый лист
Заложен на Песни Песней».

«Я бы никогда не мог любить танцовщицы, мне бы всегда казалось, что у меня в руках барахтается птица».

Вдова, выходящая замуж. Долго искала формулу для этой отвращающей меня узаконенности. И вдруг – в одной французской книге, очевидно, женской (автора «Amitié amoureuse»[17]) – моя формула:

«Le remariage est un adultère posthume».[18]

– Вздохнула!

Раньше все, что я любила, называлось – я, теперь – вы. Но оно всё то же.

Жен много, любовниц мало. Настоящая жена от недостатка (любовного), настоящая любовница – от избытка. Люблю не жен и не любовниц – «amoureuses».

Как музыкант – меньше музыки! И как любовник – меньше любви!

(NB! «Любовник» и здесь и впредь как средневековое обширное «amant». Минуя просторечие, возвращаю ему первичный смысл. Любовник: тот, кто любит, тот, через кого явлена любовь, провод стихии Любви. Может быть, в одной постели, а может быть – за тысячу верст. – Любовь не как «связь», а как стихия.)

«Есть две ревности. Одна (наступательный жест) – от себя, другая (удар в грудь) – в себя. Чем это низко – вонзить в себя нож?»

(Бальмонт.)

---

[17] «Любовная дружба» (*фр.*).

[18] Второй брак – это посмертный адюльтер (*фр.*).

Я должна была бы пить Вас из четвертной, а пью по каплям, от которых кашляю.

Как медленно сходятся с Вами такие-то! Они делают миллиметры там, где я делала – мили!

Зачем змей, когда Ева?

Любовь: зимой от холода, летом от жары, весной от первых листьев, осенью от последних: всегда – от всего.

Ночной разговор.

Павел Антокольский:[19] – У Господа был Иуда. А кто же у Дьявола – Иуда?

Я: – Это, конечно, будет женщина. Дьявол ее полюбит, и она захочет вернуть его к Богу, – и вернет.

Антокольский: – А она застрелится. Но я утверждаю, что это будет мужчина.

Я: – Мужчина? Как может мужчина предать Дьявола? У него же нет никакого доступа к Дьяволу, он Дьяволу не нужен, какое дело Дьяволу до мужчины? Дьявол сам мужчина. Дьявол – это вся мужественность. Дьявола можно соблазнить только любовью, то есть женщиной.

Антокольский: – И найдется мужчина, который припишет себе честь этого завоевания.

Я: – И знаете, как это будет? Женщина полюбит Дьявола, а ее полюбит мужчина. Он придет к ней и скажет: – «Ты его любишь, неужели тебе его не жаль? Ведь ему плохо, верни его к Богу». – И она вернет…

[19] Поэт, ученик Студии Вахтангова (примеч. М. Цветаевой).

Антокольский: – И разлюбит.

Я: – Нет, она не разлюбит. Он ее разлюбит, потому что теперь у него Бог, она ему больше не нужна. Не разлюбит, но бросится к тому.

Антокольский: – И, смотря в его глаза, увидит, что все те же глаза, и что она сама побеждена – Дьяволом.

Я: – Но был же час, когда Дьявол был побежден, – час, когда он вернулся к Богу.

Антокольский: – И предал его – мужчина.

Я: – Ах, я говорю о любовной драме!

Антокольский: – А я говорю об имени, которое останется на скрижалях.

Я: – Женщина – одержимая. Женщина идет по пути вздоха (глубоко дышу). Вот так. И промахнулся Гейне с его «horizontales Handwerk»[20]! Как раз по вертикали!

Антокольский: – А мужчина хочет – так: (Выброшенная рука. Прыжок.)

Я: – Это не мужчина так, это тигр так. Кстати, если бы вместо «мужчины» было «тигр», я бы, может быть, и любила мужчин. Какое безобразное слово – мужчина! Насколько по-немецки лучше: «Mann», и по-французски: «Homme». Man, homo… Нет, у всех лучше…

Но дальше. Итак, женщина идет по пути вздоха… Женщина, это вздох. Мужчина, это жест. (Вздох всегда раньше, во время прыжка не дышат.) Мужчина никогда не хочет первый. Если мужчина захотел, женщина уже хочет.

Антокольский: – А что же мы сделаем с трагической любовью? Когда женщина – действительно – не хочет?

Я: – Значит, не она хотела, а какая-нибудь рядом. Ошибся дверью.

---

[20] Горизонтальным ремеслом (*нем.*).

Я, робко: – Антокольский, можно ли назвать то, что мы сейчас делаем – мыслью?

Антокольский, еще более робко: – Это – вселенское дело: то же самое, что сидеть на облаках и править миром.

Я: – Два отношения к миру: любовное, материнское.

Антокольский: – И у нас два: любовное, сыновнее. А отцовского – нет. Что такое отцовство?

Я: – Отцовства, вообще, нет. Есть материнство: – Мария – Мать – большое М.

Антокольский: – А отцовство – большое О, то есть нуль, зеро.

Я, примиряюще: – А зато у нас нет дочернего.

Говорим о любви.

Антокольский: – Любить Мадонну – все равно, что застраховаться от кредиторов. (Кредитора – женщины.)

Говорим о Иоанне д'Арк, и Антокольский, внезапным взрывом:

– А королю совсем не нужно царства, он хочет то, что больше царства – Иоанну. А Вам… А ей до него нет никакого дела: – «Нет, ты должен быть королем! Иди на царство!» – как говорят: «Иди в гимназию!»

Насыщенный раствор. Вода не может растворить больше. Таков закон. Вы – насыщенный мною раствор. Я – не бездонный чан.

Нужно научиться (мне) подходить к любовному настоящему человека, как к его любовному прошлому, то есть – со всей отрешенностью и страстностью творчества.

Соперник всегда – или Бог (молишься!) – или дурак (даже не презираешь).

Предательство уже указывает на любовь. Нельзя предать знакомого.

1918 год

Суд над адмиралом Щастным. Приговор произнесен. Подсудимого уводят. И, уходя, вполоборота, в толпу: «Вы придете?»

Женское: – Да!

Я не любовная героиня, я никогда не уйду в любовника, всегда – в любовь.

«Вся жизнь делится на три периода: предчувствие любви, действие любви и воспоминание о любви».

Я: – Причем середина длится от 5-ти лет до 75-ти, – да?

Письмо:

«Милый друг! Когда я, в отчаянии от нищенства дней, задушенная бытом и чужой глупостью, вхожу, наконец, к Вам в дом, я всем существом в праве на Вас. Можно оспаривать право человека на хлеб (дед не работал, значит – внук не ешь!) – нельзя оспаривать право человека на воздух. Мой воздух с людьми – восторг. Отсюда мое оскорбление.

Вам жарко. Вы раздражены. Вы „измучены“, кто-то звонит, Вы лениво подходите: „Ах, это Вы?“ И жалобы на жару, на усталость, любование собственной ленью, – да восхищайтесь же мной, я так хорош!

Вам нет дела до меня, до моей души, три дня – бездна (не для меня – без Вас, для меня – с собой), одних снов за три ночи – тысяча и один, а я их и днем вижу!

Вы говорите: „Как я могу любить Вас? Я и себя не люблю“. Любовь ко мне входит в Вашу любовь к себе. То, что Вы называете любовью, я называю хорошим расположением духа (тела). Чуть Вам плохо (нелады дома, жара, большевики) – я уже не существую.

Дом – сплошной „нелад“, жара – каждое лето, а большевики только начинаются!

Милый друг, я не хочу так, я не дышу так. Я хочу такой скромной, убийственно-простой вещи: чтобы, когда я вхожу, человек радовался».

Тут, дружочек, я заснула с карандашом в руке. Видела страшные сны, – летела с нью-йоркских этажей. Просыпаюсь: свет горит. Кошка на моей груди делает верблюда. (Аля, двух лет, говорила: горблюд!)

Любить – видеть человека таким, каким его задумал Бог и не осуществили родители.

Не любить – видеть человека таким, каким его осуществили родители.

Разлюбить – видеть вместо него: стол, стул.

Семья… Да, скучно, да, скудно, да, сердце не бьется… Не лучше ли: друг, любовник? Но, поссорившись с братом, я все-таки вправе сказать: «Ты должен мне помочь, потому что ты мой брат… (сын, отец…)» А любовнику этого не скажешь – ни за что – язык отрежешь.

В крови гнездящееся право интонации.

Родство по крови грубо и прочно, родство по избранию – тонко. Где тонко, там и рвется.

Моя душа чудовищно-ревнива: она бы не вынесла меня красавицей.

Говорить о внешности в моих случаях – неразумно: дело так явно, и настолько – не в ней!

– «Как она Вам нравится внешне?» – А хочет ли она внешне нравиться? Да я просто права на это не даю, – на такую оценку!

Я – я: и волосы – я, и мужская рука моя с квадратными пальцами – я, и горбатый нос мой – я. И, точнее: ни волосы не я, ни рука, ни нос: я – я: незримое.

Чтите оболочку, осчастливленную дыханием Бога.

И идите: любить – другие тела!

(Если бы я эти записи напечатала, непременно сказали бы: par dépit[21]).

Письмо о Лозэне:[22]

«Вы хотите, чтобы я дала Вам краткий отчет о своей последней любви. Говорю „любви“, потому что не знаю, не даю себе труда знать… (Может быть: все, что угодно, – только не любовь! Но – все, что угодно!)

Итак: во-первых – божественно-хорош, во-вторых – божественный голос. Обе сии божественности – на любителя. Но таких любителей много: все мужчины, не любящие женщин, и все женщины, не любящие мужчин.

Он восприимчив, как душевно, так и накожно, это его главная и несомненная сущность. От озноба до восторга –

---

[21] С досады (*фр*.).

[22] Герое моей пьесы «Фортуна» (примеч. М. Цветаевой)

один шаг. Его легко бросает в озноб. Другого такого собеседника и партнера на свете нет. Он знает то, чего Вы не сказали и может быть и не сказали бы… если бы он уже не знал! Чтущий только собственную лень, он, не желая, заставляет Вас быть таким, каким ему удобно. („Угодно“ здесь неуместно, – ему ничего не угодно.)

Добр? Нет. Ласков? Да.

Ибо доброта – чувство первичное, а он живет исключительно вторичным, отраженным. Так, вместо доброты – ласковость, любви – расположение, ненависти – уклонение, восторга – любование, участия – сочувствие. Взамен присутствия страсти – отсутствие бесстрастия (пристрастности присутствия – бесстрастие отсутствия).

Но во всем вторичном он очень силен: перл, первый смычок.

– А в любви?

Здесь я ничего не знаю. Мой острый слух подсказывает мне, что само слово „любовь“ его – как-то – режет. Он вообще боится слов, как вообще – всего явного. Призраки не любят, чтобы их воплощали. Они оставляют эту роскошь за собой».

«Люби меня, как тебе угодно, но проявляй это так, как удобно мне. А мне удобно, чтобы я ничего не знал».

Воля в зле? Никакой. Вся прелесть и вся опасность его в глубочайшей невинности. Вы можете умереть, он не справится о вас в течение месяцев. И потом, растерянно: «Ах, как жаль! Если бы я знал, но я был так занят… Я не знал, что так сразу умирают…»

Зная мировое, он, конечно, не знает бытового, а смерть такого-то числа, в таком-то часу – конечно, быт. И чума – быт.

Но есть, у него, взамен всего, чего нет, одно: воображение. Это его сердце, и душа, и ум, и дарование. Корень ясен: вос-

приимчивость. Чуя то, что в нем видите вы, он становится таким.

Так: денди, демон, баловень, архангел с трубой – он все, что вам угодно, только в тысячу раз пуще, чем хотели вы. Игрушка, которая мстит за себя. Objet de luxe et d'art[23] – и горе вам, если это objet de luxe et d'art станет вашим хлебом насущным!

– Невинность, невинность, невинность! –

Невинность в тщеславии, невинность в себялюбии, невинность в беспамятности, невинность в беспомощности…

Есть, однако, у этого невиннейшего и неуязвимейшего из преступников одно уязвимое место: безумная – только никогда не сойдет с ума! – любовь к няне. На этот раз навсегда исчерпалась вся его человечность.

Итог – ничтожество, как человек, и совершенство, как существо.

Из всех соблазнов его для меня я бы выделила три главных: соблазн слабости, соблазн бесстрастия – и соблазн Чужого.

Москва, 1918–1919

[23] Предмет роскоши и искусства (фр.).

ИЗ ДНЕВНИКА

ГРАБЕЖ

2 часа ночи. Возвращаюсь от знакомых, где бываю каждый вечер. В ушах еще последние, восхищенно-опасливые возгласы: «Какая смелая! Одна – в такой час! Когда кругом грабеж. И все эти драгоценности!» (Сами же просят сидеть, сами же не оставляют ночевать, сами же не предлагают проводить, – и я выхожу смелая! Так и собака смела, которую люди из сеней выталкивают в стаю волков.)

Итак, третий час ночи. Луна прямо в лицо. Ловлю ее как в зеркало в серебряный щит кольца. Тонкий голосок фонтана, нерусская и многословная жалоба – так младшая жена жалуется в гареме – старшей. Так персияночка жаловалась, сквозь косы и чадры (бусы и чадры, слезы и чадры), зря – никому – на разинском челне. Фонтан: пушкинская урна на Собачьей площадке, – пушкинская потому, что в доме напротив Пушкин читал своего Годунова. Почти – Бахчисарайский фонтан!

Подставляю лицо – луне, слух – воде: двойное струенье

Луны, воды
Двойное струенье…

Струенье… строенье… сиренью… стремленье… (Какое вялое слово! Пустое. Не чета – стремглав.)

На углу Собачьей и Борисоглебского овеваю платьем двух спящих милиционеров. Сонно подымают глаза. Не живее тумб, на которых спят. Праздная мысль: «Эх! Чтобы – ограбить!» Девять серебряных колец (десятое обручальное), офицерские часы-браслет, огромная кованая цепь с лорнетом, офицерская сумка через плечо, старинная брошь со львами,

два огромных браслета (один курганный, другой китайский), коробка папирос (250! подарок – и еще немецкая книга. Но милиционеры, не прослышав моего совета, спят. Миновала пекарню Милешина, бабы-ягинскую избу, забор, – вот уже мои два тополя напротив. Дом. Уже заношу ногу через железку ворот (ночью ход со двора) – как из-под навеса крыльца:

– Кто идет?

Малый лет восемнадцати, в военном, из-под фуражки – лихой вихор. Рус. Веснушки.

– Оружие есть?

– Какое же оружие у женщин?

– Что это у вас тут?

– Смотрите, пожалуйста.

Вынимаю из сумки и подаю ему, одно за другим· новый любимый портсигар со львами (желтый, английский: Dieu et mon droit[24]), кошелек, спички.

– А вот еще гребень, ключ… Если вы сомневаетесь, зайдемте к дворнику, я здесь четвертый год живу.

– А документ есть?

Тут, вспоминая напутствия моих осторожных друзей, добросовестно и бессмысленно парирую:

– А у вас документ – есть?

– Вот!

Белая под луной сталь револьвера. («Значит – белый, а я почему-то всегда думала, что черный, видела черным. Револьвер – смерть –·чернота».)

В ту же секунду через мою голову, душа меня и цепляясь за шляпу, летит цепь от лорнета. Только тут я понимаю, в чем дело.

– Опустите револьвер и снимайте обеими руками, вы меня душите.

– А вы не кричите!

---

[24] «Бог и мое право» (*фр.*).

– Вы же слышите, как я говорю.

Опускает и, уже не душа, быстро и ловко снимает в два оборота обкрученную цепь. Действие с цепочкой – последнее. «Товарищи!» – это я слышу уже за спиной, занося ногу через железку ворот.

(Забыла сказать, что за все время (минуту с чем-то) нашей беседы по той стороне переулка ходили взад и вперед какие-то люди.)

Военный оставил мне: все кольца, львиную брошь, самое сумку, оба браслета, часы, книгу, гребень, ключ.

Взял: кошелек с негодным чеком на 1000 руб<лей>, новый чудный портсигар (вот оно, droit без Dieu!), цепь с лорнетом, папиросы.

В общем, если не по-божески – по-братски.

На следующий день в 6 часов вечера, на М<алой> Молчановке его убили! (Напали среди светла вечера на какого-то прохожего, тот дал себя ограбить и, пропустив, выстрелил в спину.) Он оказался одним из трех сыновей церковного сторожа соседней Ржевской церкви, вернувшихся, по случаю революции, с каторги.

Предлагали идти отбирать вещи. С содроганием отвергла. Как – я, живая (то есть – счастливая, то есть – богатая), пойду отбирать у него, мертвого, его последнюю добычу?! От одной мысли содрогаюсь. Так или иначе, я его последняя (может быть – предпоследняя!) радость, то, что он с собой в могилу унес. Мертвых не грабят.

РАССТРЕЛ ЦАРЯ

Возвращаемся с Алей с каких-то продовольственных мытарств унылыми, унылыми, унылыми проездами пустынных бульваров. Витрина – жалкое окошко часовщика. Среди грошовых мелочей огромный серебряный перстень с гербом.

Потом какая-то площадь. Стоим, ждем трамвая. Дождь. И дерзкий мальчишеский петушиный выкрик:

– Расстрел Николая Романова! Расстрел Николая Романова! Николай Романов расстрелян рабочим Белобородовым!

Смотрю на людей, тоже ждущих трамвая, и тоже (то же!) слышащих. Рабочие, рваная интеллигенция, солдаты, женщины с детьми. Ничего. Хоть бы кто! Хоть бы что! Покупают газету, проглядывают мельком, снова отводят глаза – куда? Да так, в пустоту. А может, трамвай выколдовывают.

Тогда я, Але, сдавленным, ровным и громким голосом (кто таким говорил – знает):

– Аля, убили русского царя, Николая II. Помолись за упокой его души!

И Алин тщательный, с глубоким поклоном, троекратный крест. (Сопутствующая мысль: «Жаль, что не мальчик. Сняла бы шляпу».)

ПОКУШЕНИЕ НА ЛЕНИНА

Стук в дверь. Слетаю, отпираю. Чужой человек в папахе. Из кофейного загара – белые глаза. (Потом рассмотрела: голубые.) Задыхается.

– Вы Марина Ивановна Цветаева?

– Я.

– Ленин убит.

– О!!!

– Я к вам с Дону.

Ленин убит и Сережа жив! Кидаюсь на грудь.

Вечер того же дня. Квартирант-коммунист З<ак>с, забегая в кухню:

– Ну что, довольны?

Туплю глаза, – не по робости, конечно: боюсь слишком явной радостью оскорбить. (Ленин убит, белая гвардия вошла, все коммунисты повешены, З<ак>с – первый)… Уже – великодушье победителя.

– А вы – очень огорчены?

– Я? (Передергиванье плеч.) Для нас, марксистов, не признающих личности в истории, это, вообще, не важно, – Ленин или еще кто-нибудь. Это вы, представители буржуазной культуры… (новая судорога)… с вашими Наполеонами и Цезарями… (сатанинская усмешка)… а для нассс, знаете. Нынче Ленин, а завтра…

Оскорбленная за Ленина (!!!) молчу. Недоуменная пауза. И быстро-быстро:

– Марина Ивановна, я тут сахар получил, три четверти фунта, мне не нужно, я с сахарином пью, может быть, возьмете для Али?

(Этот же Икс мне на Пасху 1918 г. подарил деревянного кустарного царя.)

ЧЕСОТКА

Сейчас в Москве поветрие чесотки. Вся Москва чешется.

Начинается между пальцами, потом по всему телу, подкожный клещ, где останавливается – нарыв. Бывает только по вечерам. На службах надписи: «Рукопожатия отменяются». (Лучше бы – поцелуи!)

И вот недавно – в гостях, родственник хозяйки, тоже гость, настойчиво и с каким-то сдержанным волнением расспрашивает хозяйку дома о том, как это, и что это, и с чего это начинается, и от чего кончается – и кончается ли.

И ее неожиданно прозревший возглас:

– Абраша, наверное, у тебя самого чесотка! («Чесотка» в ее представлении, очевидно, – сам клещ. Блохи, мухи, тараканы, клопы, чесотки.)

С уходящими под видом шутки никто не прощается за руку. Хозяин, во избежание, даже целуется. Гость противен – буржуй. Достаточно омерзителен и без чесотки. Гость – трус и воздержавшимся сочувствует. Чесотка – мерзость. И, учитывая вес, всю бессмысленность жеста и жертвы, в полном отчаянии и похолодании, не только протягиваю – но еще необычайно долго задерживаю его руку в своей.

Рукопожатие, воистину чреватое последствиями; тебе, чесоточному, уверенность в моей благосклонности и посему (учитывая чесотку!) вдвойне бессонная ночь: мне, не чесоточной, – чесотка и посему (учитывая твою уверенность!) тоже вдвойне бессонная ночь.

Как он спал, не знаю. Я, по крайней мере, не чесалась и не чешусь.

<БАРЫШНЯ>
FRÄULEIN[25]

Голодная толчея Охотного ряда. Продают морковь и малиновые трясучки, на картонных поддонниках, мерзкие. Не сдавшиеся – снуют, безнадежные – слоняются. Вдруг – знакомый затылок: что-то редкое, русое… Опережаю, всматриваюсь: молочные глаза, печальный красноватый клюв – Fräulein. Моя учительница немецкого из моей последней гимназии.

– Guten Tag, Fräulein![26] – испуганный взгляд. – Не узнаете? Цветаева. Из гимназии Брюхоненко.

[25] Барышня, девушка (*нем.*).

[26] Добрый день, фройляйн! (*нем.*).

И она озабоченно:

– Цветаева? Куда же я вас посажу? – И, останавливаясь: – Да куда же я вас посажу?

– Ну, тетка, проходи, что *ли*!

Не вынесли – немецкие мозги!

НОЧЕВКА В КОММУНЕ

Сижу в гостях. Просят сказать стихи. Так как в комнате коммунист, говорю «Белую гвардию».

Белая гвардия – путь твой высок…

За белой гвардией – еще белая гвардия, за второй белой – третья, весь «Дон», потом «Кровных коней» и «Царю на Пасху», – словом, когда опоминаюсь – 12 часов, а ворота моего дома непременно заперты.

Ночевать мне здесь нельзя – «порядочный дом», с прислугами, с родственниками, остается одно: идти на Собачью площадку и спать под звуки пушкинского фонтана. О чем объявляю – смеясь, встаю и твердым шагом иду к двери. И, уже в дверях, певуче:

– Маринушка!

– Да?

– Вы серьезно собираетесь спать на улице?

– Совершенно.

– Но ведь это же…

– Да, очень, но…

– Тогда идемте к нам, в коммуну.

– Но, может быть, вам неудобно?

– Отчего? У меня отдельная комната.

– Тогда – спасибо.

Сияю, ибо, несмотря на весь внутренний авантюризм, верней: благодаря всему внутреннему авантюризму, весьма и весьма обхожусь без внешнего! (NB! Из ночевки на коммунистической улице к ночевке в коммунистическом доме – авантюра все-таки – первое!)

Идем. Коммуна недалеко: великолепный каменный особняк, напоминающий Англию (никогда не была). Входим. Лестница с ковром. Тишина бархата. Тишина ночи. Мозолями рук по бархату перил. Проходим через пустую (и людьми и едой) столовую, еще через несколько комнат – пришли. Похоже на полуторный номер гостиницы: комната, заворачивая, образовывает крюк. Привиденский штофный занавес, за которым незримое окно из несомненно-цельного стекла – если не выбито Октябрем. Мебельная мелочь, вроде столиков, этажерок, жардиньерок. Низкая деревянная резная кровать, очень глубокая, очень разлатая. Для долгих лежаний, для поздних вставаний. Для лени, для неги, для жиру, для всего, что ненавижу – кровать!

– Вот здесь вы будете спать, Маринушка.

– А вы?

– А я на диване, в кабинете. (Кабинет, очевидно – сам крюк.)

– Нет, я на диване! Я обожаю на диване! Я дома всегда спала на диване! Даже на собачьем! Когда приезжала из пансиона! А собака, поняв, что я заснула, тоже лезла и самым наглым образом спала у меня на голове… Честное слово!

– Но вы не в пансионе, Маринушка!

– Не напоминайте мне, дружочек, где я!

Садимся. Курим. Беседуем. Уступает мне свой ужин: кусочек хлеба, три вареных свеклы и стакан чая с кусочком сахара.

– А вы?

– Я уже ужинал.

– Где? Нет, нет, вместе!

Говорим о стихах, о Германии, которую оба страстно любим, расспрашивает о моей жизни.

– Вам очень трудно живется? Смущаюсь, скрашиваю.

И он:

– Маринушка, Маринушка… Ну, я скоро получу немножко муки, я вам тогда принесу… Как все это ужасно!

Я:

– Да уверяю вас…

Он, думая вслух:

– Может быть, удастся достать немножко пшена…

(И беспомощно):

– А уехать на юг – совсем невозможно?

(Ответственный работник!)

Смотрю в лицо: прелестное, худое; в глаза: карие, в роговых очках. И такое сознание его невинности, неповинности, такое задохновение жалости и благодарности, что… но слезы уже текут, и он, испуганно:

– А вести с Юга у вас, по крайней мере, не плохие?

Сплю, конечно, на кровати, – ни собаки, ни уверения не помогли. Перед сном еще перекликаемся.

– N! Вы бы хотели сейчас быть в Вене? Это – гостиница, сейчас 1912 г., выгляните, – живая, школьная, ночная Вена… и «Wienerblut»..[27]

И он, протяжно:

– Ах, я ничего не знаю, Маринушка!

Просыпаюсь с солнцем. Быстро влезаю в свое широченное красное платье (цвета cardinal – пожар!). Пишу записку N.

[27] «Венская кровь» (*нем.*).

Осторожно открываю дверь и – о, ужас! – огромная двухспальная кровать, и на ней – спящие. Отступаю. Потом, внезапно решившись, большими тихими шагами направляюсь к противоположной двери, уже нажимаю ручку…

– Да что же это такое?!

На кровати сидящий мужчина – всклокоченная голова, расстегнутый ворот, смотрит.

И я, вежливо:

– Это я. Я случайно ночевала здесь и иду домой.

– Но, товарищ!..

– Ради Бога, извините. Я не думала, что… Я думаю, что… Я, очевидно, не сюда попала…

И, не пережидая реплики, исчезаю.

(NB! Именно – сюда!)

Потом слышала от N.: спящий принял меня за красное привидение. Призрак Революции, исчезающий вместе с первыми лучами солнца!

Рассказывая, безумно смеялся.

Только сейчас, пять лет спустя, по достоинству оцениваю положение: единственное, что я догадалась сделать, попав в коммуну, – это попасть в чужую спальню, единственное – вопреки всем призывам г<оспо>жи Коллонтай и К° – у коммунистов – некоммунистического

– «Plus royaliste que le Roi!»[28]

(Пометка весной 1923 г.)

[28] Более роялист, чем король! (*фр.*).

ВОИН ХРИСТОВ

Раннее утро. Идем с Алей мимо Бориса и Глеба. Служба. Всходим, вслед за какой-то черной старушкой, по ступеням белого крыльца. Храм полон, от раннего часа и тишины впечатление заговора. Через несколько секунд явственно ушами слышу:

– …Итак, братья, ежели эти страшные вести подтвердятся, как я только о том проведаю, ударит звонарь в колокол, и побегут по всем домам гонцы-посланцы, оповещая всех вас о неслыханном злодеянии. Будьте готовы, братья! Враг бодрствует, бодрствуйте и вы! По первому удару колокола, в любой час дня и ночи – все, все в храм! Встанем, братья, грудью, защитим святыню! Берите с собой малолетних младенцев ваших, пусть мужчины не берут оружия: возденем голые руки горе́, с знаком молитвы, посмотрим – дерзнут ли они с мечом на толпу безоружных!

А ежели и это свершится – что ж, ляжем все, ляжем с чувством исполненного долга на ступенях нашего храма, до последней капли крови защищая Господа нашего и Владыку Иисуса Христа, покровителей храма сего и нашу несчастную родину.

– …Набат будет частый, дробный, с явственными перерывами… Поясняю вам сие, братья, для того, чтобы вы, спросонья, не спутали его с пожарным колоколом. Как услышите в неурочный час непривычный звон, так знайте: зовет, зовет Господь!

Итак, дорогие братья…

И мое торопливое в ответ: «Дай Бог! Дай Бог, дай Бог!»

Москва, 1918–1919

СМЕРТЬ СТАХОВИЧА

(27 февраля 1919 г.)

Мы с Алей у Антокольского.[29] Воскресенье. Тает. Мы только что от Храма Спасителя, где слушали контрреволюционный шепот странников и – в маленьких шапочках – в шубах с «буфами» – худых и добрых – женщин-не женщин – дам-не дам, с которыми так хорошо на кладбище.

– «Погубили Россию»… «В Писании все сказано»… «Антихрист»…

Храм большой и темный. Наверху – головокружительный Бог. Островки свеч.

Антокольский читает мне стихи – «Пролог к моей жизни», которые бы я назвала «Оправданием всего». Но так как мне этого нельзя, так как я в данный час – русская, молчу молчанием резче и весче слов. Прощаемся. Аля надевает капор. В дверях студиец В. с каменным лицом.

– Я принес ужасную весть: Алексей Александрович Стахович вчера повесился.

В церкви (у Страстного, названия не помню) стоял двойной пар от ладана и от дыхания. Каждый раз, чтобы креститься, я снимала варежку. Воск капал, слез у меня нет.

Вижу руки – из чего-то другого: не плоть, – сохранившие от живого только форму – восхитительную! Те самые, которыми прививал, в Крыму, розы, и – розы кончились – закладывал, из гардинного шнура, петлю. Голова в тяжелом великолепии смерти. Веки – как занавесы: кончено, спущено. Если и есть страдание – то в висках. Остальное покоится.

---

[29] Поэт, ученик студии Вахтангова (примеч. М. Цветаевой).

Стою над гробом, близким ли, дальним ли, у меня непреложно – вопрос: «Кто следующий?» Ведь буду же я так стоять над другим лицом? – Чьим? – Эта мысль во мне, как соблазн. Я знаю, что мертвый знает. Не вопрос, а допрос. И нескончаемость этого ответа…

Еще одно: кем бы ни был мне мертвый, верней: как мало бы я ему, живому, ни была, я знаю, что в данный час (с часа, кончающегося с часами) я ему ближе всех. Может быть – потому что я больше всех на краю, легче всех пойду (пошла бы) вслед. Нет этой стены: живой – мертвый, был – есть. Есть обоюдное доверие: он знает, что я вопреки телу – есть, я знаю, что он – вопреки гробу! Дружеский уговор, договор, заговор. Он только немножко старше. И с каждым уходящим уходит в туда! в там! – частица меня, тоски, души. Опережая меня – домой. Почти как: «кланяйтесь тем-то»…

Но, воскресая с ним, я и умираю с ним. Я не могу плакать над гробом, потому что и меня закапывают! Некоей утерей своей земной достоверности плачу́сь за утверждение свое в мирах тех. (Плата за перевоз? Ведь платили же тени Харону? Я свою тень посылаю вперед – и здесь плачу́!)

Еще об одном: как это близкие так мало ревнивы к гробу? Так легко уступают – хотя бы пядь. Секунды на земле сочтены, и именно пядь дорога! Никогда не превышаю прав, оставляю пустоту вокруг гроба незаполненной – не семья – так никто! – но с такой горечью, с такой обидой за лежащего. (Гроб: точка стечения всех человеческих одиночеств, одиночество последнее и крайнее. Из всех часов – час, когда надо любить вблизи. Именно над душой стоять.)

Господи, будь он мой (то есть: имей я право!), как бы я стояла, и глядела, и целовала, как – когда все уйдут – говорила бы с ним – ему! – совсем простые вещи – может быть, о по-

годе – ведь он так недавно был! он еще не успел не-быть! как я бы ему в последний раз рассказала землю.

Я знаю, что его душа возле! Ушами же никто никогда ничего не слышал.

В церкви людно, никого не знаю. Помню седую голову Станиславского и свою мысль: «Ему, должно быть, холодно без шапки» – и умиление над этой седой головой.

Из церкви его понесли в Камергерский. Толпа была огромная. Все чужие. Я шла, чувствуя себя наполовину мертвой, умирая с каждым шагом – от всех чужих вокруг, от него – одного – впереди. Толпа была огромная. Автомобили сворачивали с дороги. Я этим немножечко (за него) гордилась.

От Зубовской площади толпа начала редеть. В постепенности этого редения выяснилось, что за ним идет одна молодежь-студийцы II Студии – его «Зеленое кольцо». Они трогательно пели.

Когда улицы стали совсем чужими, а я уже не только тела не чувствовала, но – души, ко мне подошел В. Л. М<чеде>лов.[30] Я ему безумно обрадовалась и сразу перенесла на него частичку своей нежности к Стаховичу. Я чувствовала – приказала себе почувствовать – что он чувствует совсем как я, внушала ему это, всем своим самовнушением внушала – и если я когда-нибудь в жизни испытала чувство содружества, то именно в этот час, в снегах Девичьего Поля, за гробом Стаховича.

– Я тогда не сказал Вам этого. Помните? Вы в прошлом году написали мне письмо, где было несколько строк о нем: что-то о белой кости, о белой муке. Я ему прочел. Это произвело

[30] Режиссер II Студии, ныне тоже умерший (примеч. М. Цветаевой).

на него потрясающее впечатление. Он три дня ходил за мной следом, чтобы я ему их переписал…

Слушаю молча.

– Его очень любили, все к нему приходили во время болезни. За день до его смерти кто-то из студийцев принес ему котлету из конины. Воткнул вилку и, с усмешкой: «Может, свою же лошадку и ем»… У него ведь конские заводы были. Страстно любил лошадей.

– А как же все эти студийцы, все эти юноши, все эти молодые женщины? Как же они все-таки не…

– Не догадались?

– Не отстояли его у смерти?! Ведь в их руках: молодость, любовь, – власть!

– Ах, Марина Ивановна! Жалость – не любовь. Особенно к старику. Стахович ненавидел жалость. «Я никому не нужный старик…»

Переходим на тротуар – курить. Пальцы еле держат папиросу. Была оттепель, стал буран.

– Он никакой записки не оставил?

– Нет, но в день своей смерти он еще был в театре, подошел ко мне, спросил: «Ну как. Вы еще не устроились?» – «Нет». – «Как жаль, как жаль», и сжал мои обе руки.

– А что это за маленький человек, который так плакал в церкви?

– Его камердинер, он раньше был буфетным мальчиком. За день до смерти он выдал ему жалованье за месяц вперед и награду. Перед смертью он заплатил все долги.

Доходим до кладбища. Божественная белизна Девичьего Монастыря, успокоительный свод арки. (Об этом кладбище, в 1921 г., один мой спутник-еврей: «Стоит умереть, чтобы лежать здесь», и, после паузы: «Может быть, и – креститься».) Идем к могиле. Студийцы сами хотят опустить гроб, но гроб, сделанный в Художественном театре, слишком широк (я,

мысленно, с усмешкой: барский!) – не проходит. Могильщики расширяют. К священнику, торопясь и заплетаясь, подходит монашка: «Батюшка, нельзя ли поскорей? Второй покойник у ворот».

Сугробы не расчищены, стою на могиле Сапунова, немного мучась тем, что это – ну – не по Стаховичу. Помню какую-то даму в трауре. Большие, стеклянные от слез, голубые глаза. Когда гроб опускают, крестит его вслед мелкими частыми крестиками.

Потом узнаю – актриса, у которой недавно в Киеве убили мать и сестру.

Гражданская панихида по Стаховичу (Художественный театр).

Сначала траурный марш Бетховена.

Стахович и Бетховен. Надо понять.

Первое, что чувствую – несоответствие, второе – неловкость, как от нескромности. – В чем дело? – Слишком пышно… Слишком явно. – Ну?

Стахович – XVIII век, Бетховен – вне (всякого). Что соединило эти два имени? – Смерть. – Случайность смерти. Ибо для того, Стаховича, смерть всегда случайность. Даже вольная. Не завершение, а разрыв. Не авторское тире, а цензорские ножницы в поэму. Смерть Стаховича, вызванная 19-м годом и старостью, не соответствует сущности Стаховича – XVIII веку и молодости. Уметь умирать еще не значит любить бессмертье. Уметь умирать – суметь превозмочь умирание – то есть еще раз: уметь жить. Больше – и уже на французском (языке формул) скажу:

Pas de savoir-vivre sans savoir mourir.[31]

---

[31] Нет уменья жить без уменья умирать (*фр.*).

Savoir-mourir, обратно savoir-vivre[32] – какое русское существительное! Счастлива, что следующей формулой ввожу его впервые:

Il n'y a pas que le savoir-vivre, il y a le savoir-mourir.[33]

Но что же с Бетховеном и Стаховичем?

А! кажется, поняла. Стахович – более XVIII века, чем Бетховен, рожденный в нем, равно как траурный марш Бетховена больше смерть, чем лежащий в гробу Стахович. Смысл Стаховича (XVIII века!) – Жизнь. И в смертном дне, как в любовном: «Point de lendemain!».[34] Стахович уходит весь. Бетховен – тот рай, в который дано войти Стаховичу. В траурном марше Бетховена, по отношению к Стаховичу, некая двойная грубость: acte de décès[35] (живому не играют!) и acte d' abdication[36] (доиграл!).

Ясно ли то, что я хочу сказать?

– Ах, лучше всего бы меня понял сам Стахович!

Речь Станиславского:

«У друга было в жизни три любви: семья, театр, лошади. Семейная жизнь – тайна, в лошадях я не знаток… Я буду говорить о театре».

Рассказ о том, как впервые появился за кулисами Охотничьего клуба,[37] в великокняжеской свите, красавец адъютант Стахович. «Великие князья, как им и подобает, оставались недолго. Адъютант остался». – И постепенное – негласное –

[32] Уменье умирать обратно уменью жить (*фр.*).
[33] Нет уменья жить, есть уменье умирать (*фр.*).
[34] Завтра не будет! (*фр.*).
[35] Констатация смерти (*фр.*).
[36] Констатация отказа (*фр.*).
[37] Первое помещение Художественного театра (примеч. М. Цветаевой).

участие блестящего гвардейца в постановках – в роли arbiter elegantarum.[38] («Нужно будет спросить у Стаховича», «это не по Стаховичу», «как бы это сделал Стахович?») Поездка для изучения дворянского и крестьянского быта в подмосковное имение Стаховича. – «Мы были приняты по-царски». – Нежность Стаховича. – «Заболевал ли кто-нибудь из группы, кто оставался при больном в московской жаре и духоте? Блестящий великосветский гвардеец превращался тогда в самую заботливую няньку…» Рассказ о том, как Стахович, вырвавшись с придворного бала, прилетел на пять минут в Художественный театр, чтобы полаять по-собачьи в граммофонную трубу для постановки «Вишневого сада».

Говорят не так и не те. Станиславский – слишком просто (я бы даже сказала – простецки), сводя всего Стаховича к быту: сначала придворно-военному, потом театральному и, что хуже всего – к Художественному театру: олицетворению его! – упуская элемент мятежа, толкнувшего придворного – в актерство, наивно смешивая обаяние над Стаховичем дерзкого слова «художественники» с влечением к Художественному театру, как к таковому, забывая и фон и тон той удушающей эпохи, забывая откуда и только помня – куда.

Росси (в статье, которую читает другой) упрощает сложную лирико-цинико-стоико-эпикурейскую сущность Стаховича до русских дворянских гнезд и дает фельетон вместо поэмы. Южин – как общественное лицо и привыкшее хоронить таковых – неведомо зачем и почему припоминает грехи дворянства и ставит на вид «общественную пользу Стаховичей» (ложь! совершенно бесполезны, как скаковая лошадь. Разве для тех, кто как я, на них ставит).

[38] Арбитр изящного; законодатель общественных вкусов (*лат.*).

Все – применительно: к театру ли, к общественности ли, к дворянству ли… Никто – вне: Стахович как явление.

Лучше всех – с волнением, смело, ни слова лишнего – говорит студиец Судаков. Одна фраза – совсем моя:

«И лучший урок bon ton, maintien tenue[39] нам дал Стахович 11-го марта 1919 г.». (27-го февраля – 11-го марта, день смерти.)

Слушаю, слушаю, слушаю. Все ниже и ниже опускаю голову, понимаю роковую ошибку этой зимы, каждое слово, как нож, нож все глубже и глубже, не даю себе дочувствовать, – ах, все равно – ведь я тоже умру!

И скажу еще одно, чего не говорит никто, что знают (?) все: Стахович и Любовь, о любовности этого causeur'a,[40] о бессмысленности его вне любви.

И скажу еще одно, чего не знает никто: – если бы на Рождестве 1918 г. я, как хотела, зашла к Стаховичу, он бы не умер.

А я бы ожила.

Стихов к нему мне на панихиде прочесть не дали. Были Каменева и еще кто-то. Н<емирович>-Д<анченко> кипятился и колебался: с одной стороны – «номер», с другой – камера.

…Вы не вышли к черни с хлебом-солью
И скрестились – от дворянской скуки!
В черном царстве «трудовых мозолей» –
Ваши восхитительные руки…

– Вот, если бы это пропустить…

---

[39] Хороших манер, выправки, осанки (*фр.*)·
[40] Собеседника (*фр.*).

– Нельзя, это главное. – Но я не настаивала: Стаховича в зале не было.

Переписала эти стихи его милой сестре, – единственной, кому они были нужны. Выступать для меня всегда превозможение, при моей брезгливости к зрелищам и общественности это законно! Не робость: некая недоуменная отчужденность: stranger hear.[41]

…В черном царстве «трудовых мозолей…»

Не о мозолях труда, о навязанных, глаза намозоливших и в ушах навязших, мозолях равенства – говорю. Потому и взяла в кавычки.

МОЯ ВСТРЕЧА С СТАХОВИЧЕМ

– Единственная. – Год назад. – Познакомил нас В. Л. М<чеде>лов, с которым знакома давно, но подружились только прошлой зимой. Мне всегда нравилась в нем, человеке театра, эта падкость на иные миры: в человеке зрелища – страсть к незримому. Я прощала ему театр.[42] На его постановке «Дневник Студии» (отрывок из Лескова, «История Лейтенанта Ергунова» и «Белые ночи») я была три-четыре раза, – так нравилось! Помню в «Лейтенанте Ергунове», у него, у спящего лейтенанта, слезу. Большую, сонную. Текла и застыла. Жгла и остыла. Он походил на раненного в бою. На всю Белую Армию. Потому, может быть, и ходила смотреть.

А комната – трущоба! – берлога! – где обольщает лейтенанта персияночка! Эта дрань, рвань, стклянь. Глаза по углам, узлы по углам. Эти ошметки, оплевки, обглодки. Эта комната,

---

[41] Здесь в значении: инородное звучание (*англ.*).
[42] Последующее о театре, как уже появившееся в печати, опускаю (примеч. М. Цветаевой).

центр которой – туфля. Эта туфля посреди пола, царственным, по бесстрастию, жестом ноги отлетающая в потолок! Это отсутствие здравого смысла в комнате! Отсутствие комнаты в комнате! Мой Борисоглебский живьем! Мое убранство. Моя уборка. Все мои семь комнат в одной. Скелет моего быта. Мой дом.

Помню персияночку (чертовку): шепота. Шепота – лепета – бормота. Возле слов. Наговаривает, насказывает, названивает. Амулеты – браслеты. Под браслетами – лейтенантовы эполеты. Лепета – и бусы, соловьиные рокота – и руки. Руки, ручьи.

Потом он повел меня на Стаховича – «Зеленое кольцо». О пьесе не сужу. Голос – большой обаятель. Единственный случай, когда я не верю ушам своим. (Театр.) Перевести фразу с голоса на мысль – осмыслить, осознать произносимое – не всегда успеваешь: плывешь по голосу. Голос – и чувство в ответ, вне промежутка слов. В театре слова не нужны, не важны – актер скользит по словам. (Лишнее доказательство правоты Гейне.) Бессмысленное а-а-а-а, о-о-о-о может целую толпу повергнуть в прах, повести на приступ. Равно как – при голосовой несостоятельности – ни Шекспиру, ни Расину не помочь. (Голос здесь не только как горло, но и как разум.) Откуда сей голосовой разум у сего всяческого кретинизма, коим зачастую является певец – другой вопрос, и заводящий далеко. Может быть – хороший маэстро, может быть – просто вмешательство богов. (Не меньше поэтов и женщин льстятся на недостойные сосуды!) Словом, чтобы закончить о голосе:

Я – чудо: ни добро, ни худо.

А чтобы закончить о пьесе – не знаю, я слушала Стаховича.

Стахович: бархат и барственность. Без углов. Голосовая и пластическая линия непрерывны. Это я о пятью чувствами воспринимаемом. Духовно же – некое свысока. Совсем не важно, что это по пьесе. Ясно, как зеркало, что играет себя. – «Малые мои дети» – это он не своим партнерам говорит, – нам всем, всему залу, всему поколению. «Милые мои дети», это читайте так: «Я устал, я все знаю, что вы скажете, все сны, которые вам еще будут сниться, я уже видел тысячелетия назад. И тем не менее, несмотря на усталость, выслушиваю: и исповеди, и отповеди. Снисходительность – не наименьшая ли из добродетелей Петрония? Кроме того, я, как все стареющие, бессонен. Ваши лепеты – не послужат ли они мне тем лепестковым потоком, в котором сомкнул, наконец, вежды мой более счастливый собрат?»

Этого ли хотел автор? Навряд ли. Так, чарами сущности и голоса, образ очень местный (русского барина), очень сословный (барина – очень) и очень временный (fin du siécle[43] прошлого века) превратился во вневременный и всеместный – вечный.

Образ прошлого, глядящегося в будущее.

После пьесы В. Л. М<чеде>лов повел меня знакомиться, – куда-то вниз. Помню зелень и пар: мебель и чай. Стахович встает навстречу. Очень высокий рост (я из тех народов, что богов своих воспринимают великанами!) – гибкая прямизна, цвет костюма, глаз, волос – среднее между сталью и пеплом. Помню веки, из породы тяжелых, редко дораскрывающихся.

[43] Конца века (*фр.*).

Веки природно-высокомерные. Горбатый нос. Безупречный овал.

Сопровождающие лестные слова М<чеде>лова, и я, заставляя себя взглянуть прямо:

– Я очарована, но это Вы заранее знаете. Для этого Вам достаточно слышать себя. Ненавижу театр, но обожаю чары. Я сегодня очень счастлива. Всё.

Оба смеются. Смеюсь и я. И – рассеять, нет – затуманить определенность сказанного и слышанного – вроде как бы хвостом замести! – закуриваю. И – да простит мне Стахович это упоминание об одной из пленительнейших мною за жизнь слышанных обмолвок! – его испуганный возглас:

– Но зачем же волосы жечь?! Их у Вас и без того мало!

Я, праведно-возмущенная:

– Мало? Волос?

– Я хотел сказать – короткие.

Смеемся опять. Смех, в первые секунды, лучшая связь. Смех и легкая (чужая) погрешность. Присаживаюсь к столику. Пока наливает чай, любуюсь рукой.

– Я очень люблю Ваши стихи. Когда мы были в Кисловодске, Качалов получил от вас стихотворение, без подписи…

Я, вскипая: –?!!

Стахович, чуть гася рукой, с улыбкой: – Тщетная предосторожность, ибо Вас тотчас же узнали все. Купола, колокола… Прекрасные стихи. И архитектурно, и музыкально, и филологически – замечательно. Я тотчас же выучил их наизусть и на многих вечерах читал. – Всегда с успехом… (полупоклон), который всецело приписываю Вам…

Слушаю ошеломленно. Я – Качалову?! Забалованному купчихами? Я – Качалову – без подписи?! Без подписи?! – Я?!!!

– Я очень люблю чтение поэтов. Вы бы мне их не прочли?

– Но…

И вдруг – безнадежность: Стахович эти стихи любит. Стаховичу 60 лет, и он превозмог отвращение к «современности». Стахович мне эти стихи – в упор – хвалит. И эти стихи – вдруг не мои! Все здание рушится. И под обломками – Стахович!

И, ничего не разоблачая, проглотив и аноним, и чужие стихи, и Качалова, – героически:

– Но я так плохо читаю… Как все поэты… Я никогда не решусь… (NB. Хорошо читаю – как все поэты – и всегда решаюсь.)

– Такая Шарлотта Корде? Я никогда бы не заподозрил Вас в робости!

И я, облегченно (словесная игра! То, в чем не собьют!):

– Благодарю за честь, но разве я перед Маратом?

Смеется. Смеемся. Упрашивает. Отклоняю. Отвожу. Что я ему скажу? Я тех стихов не знаю. Трагическая нелепость: здесь, где всё «да» – начинать с отказа! И, внезапно осеняясь:

– А может быть. Вы сами мне их скажете?

Он смущенно:

– Я… я их сейчас немножечко забыл. (Я не писала, а он не помнит! «Направо поедешь – коня потеряешь, налево поедешь…»)

И – поворотом стремительным и бесповоротным:

– Будь я на месте Веры Редлих,[44] я бы всю пьесу опрокинула!

– То есть?

– Вы на сцену – текст забыт, жених забыт…

– Вы так беспамятны?

– Нет, это Вы – незабвенны!

Стахович М<чеде>лову:

[44] Актрисы, по пьесе влюбленной в гимназиста (примеч. М. Цветаевой).

– О-о-о! Я и не знал, что это такое льстивое племя – поэты! Это обычно падало на бедные головы придворных!

– Каждый поэт – придворный: своего короля. Поэты всегда падки на величие.

– Как короли – на лесть.

– Которую я обожаю, ибо веду ее не от лицемерия, а от прелести – того, кому льстить. Льстить – прельщаться. Льстить-льнуть. Иной лести не знаю. А Вы?

Потом расстались, – кажется обольщенные. (О себе – достоверно.) Потом написала письмо В. Л. М<чеде>лову, не имеющее никакого отношения к адресату, кроме адреса. (С даты до подписи – о Стаховиче и для Стаховича.) Потом забылось.

Два месяца назад от Володи Алексеева[45] узнала о его болезни. Болен, скучает. Но мы виделись только раз, только час! Но – раз болен – семья, друзья… Близко не подойдешь, а проталкиваться не умею. (Не расступятся же!) Видение чужого дома, чужого быта. Родные, которые, никогда не видев меня раньше, будут разглядывать… Нарядные студийки – а я в таких башмаках…

Потом: для меня прийти (всегда, и особенно сейчас, в Революцию), для меня прийти – принести. Что я ему принесу? Свои пустые руки (никогда не аристократические, а сейчас – даже не человеческие!), пустые руки и переполненное сердце? Но последнего он – из-за первых (смущения моего!) не увидит. Даром измучаюсь и время отниму.

Но с каждым приходом Володи, жалобно: «Возьмите меня к Стаховичу!» Для меня достижимость желаемого (вещи

[45] Актера III Студии, потом добровольца, в 1920 г. пропавшего без вести (примеч. М. Цветаевой).

ли, души *ли*) в обратном соотношении с желанностью его: чем желанней – тем недостижимей. Заранее. Заведомо. И не пытаюсь хотеть. Стахович у Страстного, стало быть – и Страстной – не Страстной и… даже Стахович – не Стахович. («Удивится… Рассердится…» Он, Петроний!)

Словом, – не пошла.

Еще одна фраза, на похоронах, М<chede>лова: «Почему вы его никогда не навестили? Он был бы так рад. Он любил стихи, беседу, сам любил рассказывать, только его никто не хотел слушать… А было – что! У него ведь была необычайная жизнь. Столько встреч, путешествий… В молодости – война… И такие разные круги: придворные, военные, театр… И Вы ему тогда так понравились…»

16-го марта 1919 г.

Иду сейчас по улице. Немножко тает. Вдруг мысль: «В первый раз Москва весной без Стаховича…» (Не: «Стахович весной без Москвы», – мне подумалось именно так.)

19-го марта.

Каждый раз, когда я вижу на улице седой затылок, у меня сжимается сердце.

Еще я забыла сказать: у Стаховича когда-то был чудесный голос. Он пел с каким-то знаменитым итальянцем. – Голос! – Жесточайшее надо мной обаяние!

Да, то был вальс прелестный, томный,
Да, то был ди-ивный вальс.

Он это часто пел, чудесно пел. Кончит – и неизменно:

Когда б я молод был,
Как бы я Вас любил!

– Алексей Александрович! Алексей Александрович! Да ведь этого в романсе нет! Это Вы свое поете!

– Есть, есть! А если и нет – se non è vero è ben trovato![46]

И никто не понимал!

(Рассказ студийки.)

Москва, февраль – март 1919

---

[46] Если и неверно, то хорошо придумано! (*ит.*).

О БЛАГОДАРНОСТИ
(Из дневника 1919 г.)

Когда пятилетний Моцарт, только что отбежав от клавесина, растянулся на скользком дворцовом паркете, и семилетняя Мария-Антуанэтта, единственная из всех, бросилась к нему и подняла его, – он сказал: «Celle-je l'épouserai»,[47] и, когда Мария-Тереза спросила его, почему, – «Par reconnaissance».[48]

Скольких она и потом, Королевой Франции, поднимала с паркета – всегда скользкого для игроков – честолюбцев – кутил, – крикнул ли ей кто-нибудь – par reconnaissance – «Vive la Reinel!»,[49] когда она в своей тележке проезжала на эшафот.

Reconnaissance – узнавание. Узнавать – вопреки всем личинам и морщинам – раз, в какой-то час узренный, настоящий лик.

(Благодарность.)

Я никогда не бываю благодарной людям за поступки – только за сущности! Хлеб, данный мне, может оказаться случайностью, сон, виденный обо мне, всегда сущность.

Я беру, как я даю: слепо, так же равнодушная к руке дающего, как к своей, получающей.

---

[47] Я на ней женюсь…

[48] Из благодарности (*фр.*).

[49] Из благодарности – «Да здравствует королева!» (*фр.*).

Человек дает мне хлеб. Что первое? Отдарить. Отдарить, чтобы не благодарить. Благодарность: дар себя за благо, то есть: платная любовь.

Я слишком чту людей, чтобы оскорблять их платной любовью.

Оскорбительно для меня, следовательно и для другого.

Добрая воля, направленная на меня, никогда ничего не предрешала. Личность (направленность на меня) дара, в моем восприятии дара, отсутствует. Я благодарна не за себя и не за соседа, я благодарна.

Меня не купишь. В этом вся суть. Меня можно купить только сущностью. (То есть – сущность мою!) Хлебом вы купите: лицемерие, лжеусердие, любезность, – всю мою пену… если не накипь.

Купить – откупиться. От меня не откупишься.

Купить меня можно – только всем небом в себе! Небом, в котором мне может быть даже не будет места.

Благодарна я вне-лично, то есть лишь там, где я, помимо доброй воли человека и без его ведома, могу взять сама.

Отношение не есть оценка. Это я устала повторять. Оттого, что ты мне дал хлеба, я может быть стала добрее, но ты от этого не стал прекрасней.

Поступок не есть отношение, отношение не есть оценка, оценка (критиком, например. Блока) не есть сущность (Блок).

Сущность – умысел, слышна только слухом.

Кусок хлеба от противного человека. Удачный случай. Не больше.

Ем ваш хлеб и поношу. – Да, –

Только корысть – благодарна. Только корысть мерит целое (сущность) по куску, данному ей. Только детская слепость, глядящая в руку, утверждает: «Он дал мне сахару, он хороший». Сахар хороший, да. Но оценивать сущность человека по сахарам и «чаям», от него полученным, простительно только детям и прислугам: инстинкту.

Да и то нет: мы часто наблюдаем собак, предпочитающих господина своего, ничего не дающего, – кухарке, кормящей.

Отождествлять источник благ с благами (кухарку – с мясом, дядю с сахаром, гостя – с чаевыми) признак полной неразвитости души и мысли. Существо, не пошедшее дальше пяти чувств.

Собака, любящая за то, что гладят, выше кошки, любящей за то, что гладят, и кошка, любящая за то, что гладят, выше ребенка, любящего за то, что кормят. Все дело в степенях.

Так, от простейшей любви за сахар – к любви за ласку – к любви при виде – к любви не видя (на расстоянии),[50] – к любви, невзирая (на нелюбовь), от маленькой любви за – к великой любви вне (меня) – от любви получающей (волей другого!) к любви берущей (даже помимо воли его, без ведома его, против воли его!) – к любви в себе.

---

[50] Отсюда – вся я (примеч. М. Цветаевой).

Чем старше мы, тем большего мы хотим: в младенчестве – только сахара, в юности – только любви, в старости – только (!) сущности (тебя вне меня).

Чем меньше мы внешние блага ценим, тем легче мы их даем и берем, тем меньше мы за них благодарны.

(Практически: благодарность за хлеб (даяние) я допускаю только молчаливую. В явной – нечто устыжающее дающего, какой-то укор.)

Радость хлебу – вот лучшая благодарность! Благодарность, кончающаяся с последним глотком в пищевод.

Неужели эта частность, малость, подразумеваемость (для меня) – дать – неминуемо должна вырасти в какую-то гору, из-за приставки: мне.

Я-то ведь знаю, как дают: слепо! И я разве сама стерплю, чтобы меня благодарили за хлеб? (За стихи не стерплю, – вот что!)

Хлеб – разве что я?! Стихи (случайность песенного дара) – разве это я?!

Я, это под небом, одна. Отойдите и благодарите.

Я не хочу низко думать о людях. Когда я даю человеку хлеб, я даю голодному, то есть пищеводу, то есть не ему. Его душа здесь ни при чем. Я могу дать любому – и не я даю: любой. Хлеб сам себя дает. И я не хочу верить, чтобы любой, давая моему пищеводу, требовал за это с моей (или моей) души.

Но не пищевод дает: душа! Нет, рука. Эти дары не личны. Странно предпочитать один желудок другому, а если и предпочитать – то более голодный. Более голодный, на сегодня, мой (твой). Я за это не ответственна.

Так, установив дающего (руку) и получающего (пищевод) – странно требовать одному куску мяса от другого куска мяса… благодарности.

Души благодарны, но души благодарны исключительно за души. Спасибо за то, что ты есть.

Все остальное – от меня к человеку и от человека ко мне – оскорбление.

Дать, это не действенность наша! Не личность наша! Не страсть! Не выбор! Нечто, принадлежащее всем (хлеб), следовательно (у меня его нет) у меня отобранное, возвращается (через тебя) ко мне (через меня – к тебе).

Хлеб нищему – восстановление прав.

Если бы мы давали кому мы хотим, мы были бы последние негодяи. Мы даем тому, кто хочет. Его голод (воля!) вызывает наш жест (хлеб). Дано и забыто. Взято и забыто. Никакой связи, никакого родства. Дав, отмежевываюсь. Взяв, отмежевываюсь. Взяв, отмежевываюсь.

Без последствий.

Так зачем же мне тебе давать?

Чтобы не быть подлецом.

Помню гимназисткой – в проходном церковном дворе – нищий. – «Подайте, Христа ради!» – Миную. – «Подайте, Христа ради!» – Продолжаю идти. Он, забегая: – «Не ради Бога – так хошь ради черта!»

Почему дала? Вознегодовал.

Хлеб. Жест. Дать. Взять. Этого не будет там. Поэтому все, возникающее из дать и взять – ложь. Сам хлеб – ложь. Ничто, построенное на хлебе, не уцелеет (замешенное на дрожжах – не взойдет). Опара наших хлебных чувств при хладной температуре Бессмертия неминуемо опадет.

Не стоит и замешивать.

Брать – стыд, нет, давать – стыд. У берущего, раз берет, явно нет; у дающего, раз дает, явно есть. И вот эта очная ставка есть с нет…

Давать нужно было бы на коленях, как нищие просят.

К счастью, этим стыдом даяния награждены только нищие. (Деликатность их дара!) Богатые ограничиваются минутной заминкой докторского гонорара.

Благодарность: от любования до опрокинутости.

Я могу любоваться только рукой, отдающей последнее, следовательно: я никогда не могу быть благодарной богатым.

…Разве что за робость их, виноватость их, сразу делающую их невинными.

Бедный, когда дает, говорит: «Прости за малость». Смущение бедного от «больше не могу». Богатый, когда дает, ничего не говорит. Смущение богатого от «больше не хочу».

Дать, это настолько легче, чем брать – и настолько легче, чем быть.

Богатые откупаются. О, богатые безумно боятся – не Революции, так Страшного Суда. Я знаю мать, покупающую молоко чужому (больному!) ребенку только для того, чтобы не погиб ее собственный (здоровый). Богатая мать, спасая чужого ребенка от смерти (достоверной), только выкупает своего у смерти возможной. («Умолить судьбу!»)

Я смотрю в исток поступка, в умысел его. Это молоко ей, богатой матери, на Страшном Суде потечет смолой.

Благотворительность. Поликратов перстень.

Дар нищего (кровный, последний!) безличен. «Бог дает». Дар богатого (излишек, почти отброс) имеет имя, отчество, фамилию, чин, звание, род, день, час, число. И – память. Дала правая, а помнят обе.

Нищий, подав из руки в руку, забыл. Богатый, выславший через прислугу, помнит. И, если вдуматься, понятно: некий оправдательный материал для Страшного Суда.

– Гадательный материал.

Москва, июль 1919

ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ «ЗЕМНЫЕ ПРИМЕТЫ»

Таинственная скука великих произведений искусства, – одних уже наименований их: Венера Милосская, Сикстинская Мадонна, Колизей, Божественная Комедия (исключение Музыка. «Девятая симфониям – это всегда вздымает!).

Точно на них пудами навязла скука всех их читателей, чтителей, попечителей, толкователей…

И таинственное притяжение мировых имен: Елена, Роланд, Цезарь (включая сюда и творцов вышеназванных творений, если имена их пребыли).

Сказанное относится к звуку имен их, к моему слуховому восприятию. Касательно же сущности – следующее:

Творению я несомненно предпочитаю Творца. Возьмем Джоконду и Леонардо. Джоконда – абсолют, Леонардо, нам Джоконду давший – великий вопросительный знак. Но может быть, Джоконда и есть ответ Леонардо? Да, но не исчерпывающий. За пределами творения (явленного!) еще целая бездна – Творец: весь творческий Хаос, все небо, все недра, все завтра, все звезды, – все, обрываемое здесь земною смертью.

Так абсолют (творение) превращается для меня в относительность: вехи к Творцу.

– Но это уничтожение искусства!

– Да. Искусство не самоцель: мост, а не цель.

Произведение искусства отвечает, живая судьба спрашивает (тоска рожденного по воплощению в искусстве!). Произведение искусства, как совершенное, приказует, живая судьба, как несовершенное, просит. Если ты хочешь абсолю-

та, иди к Венере – Милосской, Мадонне – Сикстинской, Улыбке – Леонардовской, если ты хочешь дать абсолют (ответить!), иди к Афродите – просто, Марии – просто, Улыбке – просто: минуя толкование – к первоисточнику, т. е. делай то же, что делали творцы этих творений, безымянных или именных.

Этим ты не умаляешь ни Гёте, ни Леонардо, ни Данте. Твоя немота перед ними – твоя дань им. Что можно ответить на исчерпывающий ответ? Молчишь.

Но если ты рожден в мир – давать ответы, не застывай в блаженном небытии, не так творили и не этого, творя, хотели Гёте, Леонардо, Данте. Быть опрокинутым – да, но уметь и встать: припав – оторваться, пропав – воскреснуть.

Коленопреклонись – и иди мимо: в мир нерожденный, несотворенный и жаждущий.

В этой отбрасывающей силе и есть главная сила великих произведений искусства. Абсолют отбрасывает – к созданию абсолютов же! В этом и заключается их действенность и вечная жизнь.

Но между Джокондой (абсолютным толкованием Улыбки) и мною (сознанием этой абсолютности) не только моя немота, – еще миллиарды толкователей этого толкования, все книги о Джоконде написанные, весь пятивековой опыт глаз и голов, над ней тщившихся.

Мне здесь нечего делать.

Абсолютна, свершена, совершенна, истолкована, залюблена.

Единственное, что можно перед Джокондой – не быть.

«Но Джоконда улыбкой – спрашивает!» На это отвечу: «Вопрос ее улыбки – и есть ответ ее». Неизбежность вопроса и есть абсолют ответа. Сущность улыбки – вопрос. Вопрос дан в непрерывности, следовательно дана сущность улыбки, ответ ее, абсолют ее.

Толковать Улыбку (Джоконду) ученым, художникам, поэтам и царям – бессмысленно. Дана Тайна, тайна как сущность и сущность как тайна. Дана Тайна в себе.

Любить – видеть человека таким, каким его задумал Бог и не осуществили родители.

Не любить – видеть вместо него: стол, стул.

Дочь, у которой убили отца – сирота. Жена, у которой убили мужа – вдова. А мать, у которой убили сына?

Всегда крещусь, переезжая через реку. Подумать не успев. Любопытно, есть ли в народе такая примета? Если нет, значит – была.

Родство по крови грубо и прочно, родство по избранию – тонко. Где тонко, там и рвется.

«Я вас не оставлю!» Так может сказать только Бог – или мужик с молоком в Москве, зимой 1918 г.

Я и Театр:

Я принадлежу к тем зрителям, которые, по окончании мистерии, разрывают на части Иуду.

Вся тайна в том, чтобы сто лет назад видеть, как сегодня, и сегодня – как сто лет назад.

(Уничтожение… я хотела написать: пространства. Нет, времени. Но „время“ не мыслишь иначе как: расстояние. А „расстояние“ – сразу версты, столбы. Стало быть: версты, это пространственные годы, равно как год – это во времени – верста.

Так или иначе, но перемещать годы и версты – нужно.)

Верста: уводящая! Насколько это лучше «исходящей» (о «входящей» уже не говорю: вошла – так осталась!).

Любовь – как заговор:

Zur rechten Zeit,
Am rechten Ort,
Da rechte Mann –
Das rechte Wort.[51]

И главное – Wort! Zeit, Ort, Mann – уступаю.

Когда я уезжаю из города, мне кажется, что он кончается, перестает быть. Так о Фрейбурге, например, где я была девочкой. Кто-то рассказывает: «В 1912 г., когда я, проездом через Фрейбург…» Первая мысль: «Неужели?» (То есть неужели он, Фрейбург, есть, продолжает быть?) Это не

[51] В то самое время,
В том самом месте.
Тот самый человек –
То самое слово (*нем.*).

самомнение, я знаю, что я в жизни городов – ничто. Это не: без меня?! а: сам по себе?! (То есть: он действительно есть, вне моих глаз есть, не я его выдумала?)

Когда я ухожу из человека, мне кажется, что он кончается, перестает быть. Так и о Z, например. Кто-то рассказывает: «В 1917 г., когда я встретился с Z»… Первая мысль: «Неужели?» (То есть: неужели он, Z, есть, продолжает быть?) Это не самомнение, я знаю, что я в жизни людей – ничто…

«Кончается, перестает быть». Здесь нужно различать два случая.

Первый:

Сильно ожитые (оживленные? выжатые?) мною люди и города пропадают безвозвратно: как проваливаются. Не гулкие Китежи, – глухие Геркуланумы.

Города и люди же, лишь беглым игралищем мне служившие – застывают: на том самом месте, на том самом жесте. Стереоскоп.

Когда я слышу о первых, я удивляюсь: неужели стоит? Когда я слышу о вторых, я удивляюсь: неужели растет?

Повторяю, это не самомнение, это глубокое, невинное, подчас радостное изумление. Слушаю, расспрашиваю, участвую, сочувствую… и, втайне: «Не Фрейбург. Не тот Фрейбург. Личина Фрейбурга. Обман. Подмена».

Надо, в Революции, многое запереть на ключ: все, кроме сундуков! И, заперев, закинуть этот ключ… но и моря такого нет!

Нет, заперев, молча и мужественно вручить этот ключ – Богу.

Бог я произношу, как утопающий: вздохом. Смутное чувство: не надо Бога тревожить (знать), когда сам можешь. А «можешь» с каждым днем растет…

Есть у Мандельштама об этом изумительный (отроческий) стих:

> …Господи! – сказал я по ошибке,
> Сам того не думая сказать…

и – дальше:

> Имя Божье, как большая птица,
> Вылетело из моей груди…

Нечаянно. – Но я никогда не дерзну назвать себя верующей, и это – молитвой.

Что я в ущерб чему в жизни не провозглашала!

Фотографию в ущерб портрету, крепостное право в ущерб вообще праву, капусту в ущерб розе, Марфу в ущерб Марии, староверов в ущерб Петру… Самое обратное себе – в ущерб самой себе!

И не из спорта (отсутствует!), не для спора (страдаю!) – из чистой справедливости: прав, раз обижен.

И еще: из полной невозможности со-чувствия (-мыслия, -любия) с лицемерами, втайне бесспорно предпочитающими: фотографию – портрету, крепостное право – просто-праву, капусту – розе, Марфу – Марии, длиннобородых – Петру!

Но есть еще тайна: вещь, обиженная, начинает быть правой. Собирает все свои силы – и выпрямляется, все свои права на существование – и стоит.

(NB! Действенность гонимых идей и людей!)

Нет ведь окончательной лжи, у каждой лжи ведь хотя бы один луч – в правду. И вот она вся идет по этому лучу. Обнаруженная и покаранная вина уже становится бедою, ответственность спадает на головы судей. Преступник, осужденный здесь, перед Богом чист. Но есть еще тайна, и страшнейшая, быть может: заразность караемых нами недугов, наследственность вины. Преступник, насильственно избавляемый нами от болезни, передает нам болезнь. Каждый судья и палач – наследник.

Есть еще в этом какая-то воля крови. Кровь земная проливаться должна. Преступника нет, ближайший родственник палач (или судья, равно!). Недопролитая преступником кровь вопиет к палачу: пролей! Секунда казни – секунда союза. Первая капля брызнувшей преступниковой крови – уже вступление во владение… и обязанности.

Есть браки таинственнее мужа и жены.

(Таинственное соответствие: алтарь, плаха; топор, крест; народ, хор; судья, священник; палач и жертва – брачующиеся; вместо невидимого Бога – невидимый Черт. Чертова свадьба наоборот, с той же непреложностью безмолвного обета.)

Ни одна правда (из царства Там) не может не сделаться ложью в царстве Здесь. Ни одна ложь (из царства Здесь) не может не сделаться правдой в царстве Там.

Правда – перебежчица.

В комиссариате:

Я, невинно: «А трудно это – быть инструктором?» Моя товарка по комиссариату, эстонка, коммунистка: «Совсем не

трудно! Встанешь на мусорный ящик – и кричишь, кричишь, кричишь…»

Буржуазии для очистки снега запретили пользоваться лошадиными силами. Тогда буржуазия, недолго думая, наняла себе верблюда. И верблюд возил. И солдаты сочувственно смеялись: «Молодцы! Ловко обошли декрет!»

(Собственными глазами видела на Арбате.)

О ты, единственное блюдо
Коммунистической страны!
(Стих о вобле в газете «Всегда вперед!».)

Люди театра не переносят моего чтения стихов: «Вы их губите!» Не понимают они, коробейники строк и чувств, что дело актера и поэта – разное. Дело поэта: вскрыв – скрыть. Голос для него броня, личина. Вне покрова голоса – он гол. Поэт всегда заметает следы. Голос поэта – водой – тушит пожар (строк). Поэт не может декламировать: стыдно и оскорбительно. Поэт – уединённый, подмостки для него – позорный столб. Преподносить свои стихи голосом (наисовершеннейшим из проводов!), использовать Психею для успеха?! Достаточно с меня великой сделки записывания и печатания!

– Я не импресарио собственного позора! –

Актер – другое. Актер – вторичное. Насколько поэт – être,[52] настолько актер – paraitre.[53] Актер – упырь, актер – плющ, актер – полип. Говорите, что хотите: никогда не

[52] Быть (*фр.*).
[53] Казаться (*фр.*).

поверю, что Иван Иванович (а все они – Иваны Ивановичи!) каждый вечер волен чувствовать себя Гамлетом, Поэт в плену у Психеи, актер Психею хочет взять в плен. Наконец, поэт – самоцель, покоится в себе (в Психее). Посадите его на остров – перестанет ли он быть? А какое жалкое зрелище: остров – и актер!

Актер – для других, вне других он немыслим, актер – из-за других. Последнее рукоплескание – последнее биение его сердца.

Дело актера – час. Ему нужно торопиться. А главное – пользоваться: своим, чужим, – равно! Шекспировский стих, собственная тугая ляжка – все в котел! И этим сомнительным пойлом вы предлагаете опиваться мне, поэту? (Не о себе говорю и не за себя: Психею!)

Нет, господа актеры, наши царства – иные. Нам – остров без зверей, вам – звери без острова. И недаром вас в прежние времена хоронили за церковной оградой!

(Исключение для: певцов, порабощенных стихией голоса, растворяющихся в ней, – для актрис, то есть: женщин: то есть: природно себя играющих, и для всех тех, кто, прочтя меня, понял – и пребыл.)

Все это, и несомненно это, а не иное, уже было высказано тем евреем, за которого всех русских отдам, предам, а именно: Генрихом Гейне – в следующей сдержанной заметке:

«Театр не благоприятен для Поэта, и Поэт не благоприятен для Театра».

Мастерство беседы в том, чтобы скрыть от собеседника его нищенство. Гениальность – заставить его, в данный час, быть Крезом.

Москва сейчас смотрит на трамваи с недоверием, как на воскресшего Лазаря. (И, мгновенно забывая и Москву и трамваи: а ведь недоверие Лазаря к миру – страшнее!)

Лазарь: застекленевшие навек глаза. Лазарь – глаза – Glas… И еще glas des morts…[54] (Неужели от этого?)

«Воскреси его, потому что нам без него скучно!» – то же самое, что: «Разбуди его, потому что мы без него не спим»… Разве это довод? – О, какое мертвое, плотское, чудовищное чудо! Какое насилие над Лазарем и какое – страшнейшее – над собой!

Лазарь, возвращающийся оттуда: мертвый к живым, и Орфей, спускающийся туда: живой – к мертвым… Разверстая яма и Елисейские поля. – Ах, ясно! – Лазарь оттуда мог принести только тлен: дух, в Жизнь воскресший, в жизнь не «воскресает». Орфей же из жизни ушел – в Жизнь. Без чужого веления: жаждой своей.

(А может быть, просто обряд погребения? Там – урна, здесь – склеп. Орфею навстречу в Аиде двинулся призрак, из пепла восставший. А Марии и Марфе – труп.)

Как мне жаль Христа! Как мне жаль Христа за его насильственные чудеса! Христос, пришедший горы двигать – словом! «Докажи, тогда поверим!» – «Верим, но подтверди!» Между чудом в Кане (по просьбе Марии) и испытующим

[54] Похоронный звон (*фр.*).

перстом Фомы – странная перекличка. Если бы Мария была зорче, она бы, вслед за превращением воды в вино, увидела другое превращение: вина – в кровь…

Убеждена, что Иоанн у Христа не просил чудес.

В Комиссариате: (3 М).

– Ну, как довезли картошку?

– Да ничего, муж встретил.

– Вы знаете, надо в муку прибавлять картошку, $^{2}/_{3}$ картошки, $^{1}/_{3}$ муки.

– Правда? Нужно будет сказать матери. У меня: ни матери, ни мужа, ни муки.

«Пражская столовая» на углу Николо-Песковского и Арбата. Помню, в военные времена, бюст Бонапарта. Февральская Революция сменила его на Керенского. Ах, о Керенском! Есть у меня такой сувенир: бирюзовая картонная книжечка с золотым ободком, распахнешь: слева разбитое зеркальце, справа – Керенский. Керенский, денно и нощно глядящийся в дребезг своих надежд. Эту реликвию я получила от няньки Нади, в обмен на настоящее зеркало, цельное, без Диктатора.

Возвращаясь к столовой: Керенского Октябрь заменил Троцким. Устрашающая харя Троцкого, взирающая на пожирающих детей. И еще Марксом, который, занятый Троцким, на детей не глядит. Пресловутый и спорный суп, кстати, дети выплескивают в миску сенбернара Марса, с 12-ти до 2 часов дежурящего у дверей. Иногда перепадает и в миски нищенок:

Марс не ревнив.

Неприлично быть голодным, когда другой сыт. Корректность во мне сильнее голода, – даже голода моих детей.

– Ну как у Вас, все есть?

– Да, пока слава Богу.

Кем нужно быть, чтобы так разочаровать, так смутить, так уничтожить человека отрицательным ответом?

– Просто матерью.

(Сейчас, в 1923 г. ставлю вопрос иначе:

Кем нужно было быть, чтобы тогда, в 1919 г., в Москве, зная меня, видя моих детей – так спрашивать?!

– Просто «знакомым».)

(Вторая пометка:

Не корректность, – чуткость на интонацию! Вопрос диктует ответ. На «ничего нет» в лучшем смысле последовало бы: «Как жаль!»

Дающий не спрашивает.)

Жестокосердые мои друзья! Если бы вы, вместо того, чтобы угощать меня за чайным столом печеньем, просто дали мне на завтра утром кусочек хлеба…

Но я сама виновата, я слишком смеюсь с людьми. Кроме того, когда вы выходите, я у вас этот хлеб – краду.

Мои покражи в Комиссариате: два великолепных клетчатых блокнота (желтых, лакированных), целая коробка перьев, пузырек английских красных чернил. Ими и пишу.

Кривая вывозит, прямая топит.

Вместо «Монпленбеж», задумавшись, пишу: «Монплэзир» (Monplaisir – нечто вроде маленького Версаля в XVIII в.).

Мое «не хочу» всегда: «не могу». Во мне нет произвола. «Не могу» – и кроткие глаза.

Мое «не могу» – некий природный предел, не только мое, – всякое. В «хочу» нет предела, поэтому нет и в «не хочу».

Не хочу – произвол, не могу – необходимость. «Чего моя правая нога захочет…», «Что моя левая нога сможет», – этого нет.

Не могу священнее не хочу. Не могу, это все переборотые не хочу, все исправленные попытки хотеть, – это последний итог.

Мое «не могу» – это меньше всего немощь. Больше того: это моя главная мощь. Значит, есть что-то во мне, что вопреки всем моим хотениям (над собой насилиям!) все-таки не хочет, вопреки моей хотящей воле, направленной против меня, не хочет за всю меня, значит, есть (помимо моей воли!) – «во мне», «мое», «меня», – есть я.

Не хочу служить в Красной Армии. Не могу служить в Красной Армии. Первое предпосылает: «Мог бы, да не хочу!» Второе: «Хотел бы, да не могу». Что важнее: не мочь совершать убийства, или не хотеть совершать убийства? В не мочь – вся наша природа, в не хотеть – наша сознательная во-

ля. Если ценить из всей сущности волю – сильнее, конечно: не хочу. Если ценить всю сущность – конечно: не могу.

Корни не могу глубже, чем можно учесть. Не могу растет оттуда, откуда и наши могу: все дарования, все откровения, все наши Leistungen:[55] руки, двигающие горы; глаза, зажигающие звезды. Из глубин крови или из глубин духа.

Я говорю об исконном не могу, о смертном не могу, о том не могу, ради которого даешь себя на части рвать, о кротком не могу.

Утверждаю: не могу, а не не хочу создает героев!

Да будет мое не хочу – не могу: великим и последним не хочу всего существа. Будем хотеть самых чудовищных вещей. Ноги, ступайте! Руки, хватайте! – чтобы в последнюю минуту: ноги вкопанные, топор – из рук: не могу!

Будем начинать с хотения! Перехотим все! «Не могу» без всех испробованных «хочу» – жалкая немощь и, конечно, кончится: могу.

– Но если я не только не могу (предать, скажем), если я еще и не хочу мочь? (предать).

Но в настоящих устах не хочу и есть не могу (не воля моя одна, а вся сущность моя не хочет!), но в настоящих устах не могу и есть не хочу (не бессознательная сущность моя одна, но и воля моя не хочет!).

[55] Деяния (*нем.*).

Не могу этого хотеть и не хочу этого мочь.

– Формула. –

Не могу: 1) взять в руки червя, 2) не встать на защиту (прав, виноват, здесь, за сто верст, днесь, за сто лет – равно), 3) встать на защиту – свою, 4) любить совместно.

Стоит мне только начать рассказывать человеку то, что я чувствую, как – мгновенно – реплика: «Но ведь это же рассуждение!»

Чувства, для людей, это какие-то простоволосые фурии, нечто не в них происходящее: на них обрушивающееся. Вроде каменного обвала, под которым они сразу – в кашу!

– иначе:

Четкость моих чувств заставляет людей принимать их за рассуждения.

Я не влюблена в себя, я влюблена в эту работу: слушание. Если бы другой так же дал мне слушать себя, как я сама даю (так же дался мне, как я сама даюсь), я бы так же слушала другого.

О других мне остается только одно: гадать.

– Познай самого себя!

Познала. – И это нисколько не облегчает мне познания другого. Наоборот, как только я начинаю судить человека по себе, получается недоразумение за недоразумением.

Я не думаю, я слушаю. Потом ищу точного воплощения в слове. Получается ледяная броня формулы, под которой – только сердце.

Я не подслушиваю, я выслушиваю. Так же, как врач: грудь. И как часто: стучишь, – глухо!

Есть люди определенной эпохи и есть эпохи, воплощающиеся в людях. (Не Бонапарт – XIX век: XIX век – Бонапарт!)

О бытии и небытии в любимом:

Я никогда не хочу на грудь, всегда в грудь! Никогда – припасть! Всегда пропа́сть! (В про́пасть.)

«Живой» никогда не даст себя так любить, как «мертвый». Живой сам хочет быть (жить, любить). Это мне напоминает вечный вопль детства: «Я сам! Я сам!» И непременно – ногой в рукав, рукой в сапог.

Так и с любовью.

Я хочу в тебе уничтожиться, то есть я хочу быть тобой. Но тебя уже в тебе нет, ты уже целиком во мне. Пропадаю в собственной груди (тебе). Я не могу пропасть в твоей груди, потому что там тебя нет. Но может быть я там есть? (Взаимная любовь. Души поменялись домами.) Нет, и меня там нет. Там ничего нет. Меня же нигде нет. Есть моя грудь – и ты. Я тебя люблю тобой.

Захват? Да. Но лучше, чем товарообмен.

Ну, а взаимная любовь? (Товарообмен.) Единовременный и перекрестный захват (отдача). Два пропада: души X в собственной груди, где Z, и души Z – в собственной груди, где X.

Но раз я в тебе живу, я не пропала! Но раз ты во мне живешь, ты не пропал! Это бытие в любимом, это «я в тебе и ты

во мне», это все-таки я и ты, это не двое стали одним. Двое стали одним – небытие. Я говорила о небытии в любимом.

Двое – одно, то есть: небытие в любимом возможно только для одного. Для того, чтобы не-быть в другом, нужно, чтобы другой был.

Оговорка: Все сказанное относится, конечно, к нашему восприятию души другого, к нашей тайной жизни с душой другого.

При условии, что каждый из двух не знает, что другого нет, верит, что другой есть, не знает, что другой в нем уничтожен, – при условии незнания взаимное небытие друг в друге, конечно, возможно.

Наш захват другого – только в нас.

«Для меня тебя в тебе нет, ты вся во мне». Так думает поэт о своей Психее, это не мешает ей выходить замуж и любить другого, но ее замужество, в свою очередь, не мешает и не может помешать поэту.

Больше скажу: сила захвата в прямом соотношении с тайной, глубина его – с внешней опровержимостью его. Когда уже ничто не мое – все мое! Это прямой дорогой подводит нас к смерти: физической смерти любимого. Только не смешивайте с ревностью! «Не будь» ревности – от нищеты и страха. («Раз в гробу, то уже нет соперников!») Для захвата ни соперников, ни гроба: «не будь» захвата – это последний отказ, дающий последнюю власть.

Выдавайте ваших красавиц подальше замуж, поэты! Чтобы ни один ваш вздох (стих) не дошел, не вернулся – вздохом! Откажитесь даже от снов о них.

День их бракосочетания – ваш первый шаг к победе, день их погребения – ваш апофеоз.

(Беатриче. Данте.)

Любовь для меня – любящий. И еще: ответно любящего я всегда чувствую третьим. Есть моя грудь – и ты. Что здесь делать другому? (действенности его?)

Ответ в любви – для меня тупик. Я ищу не вздохов, а выходов.

У нас на кухне ночует мальчик, сын бабы, которая возит нам молоко.

– «Не думалось мне, что придется мне на пружине ночевать!» От этого «на пружине» у меня сжимается сердце.

– Вот тебе и ненависть к простонародью!

Вчера, в Охотном, один мужик другому:

– Ты не охай! Нынче год-то такой – девятнадцатый!

– Ну что, – Москву навещаешь?

(Как больного.)

Смерть страшна только телу. Душа ее не мыслит. Поэтому, в самоубийстве, тело – единственный герой.

Самоубийство: lâcheté души, превращающаяся в героизм тела.[56] То же самое, как если бы Дон Кихот, струсив, послал в сражение Санчо Пансо – и тот повиновался.

Героизм души – жить, героизм тела – умереть.

В православной церкви (храме) я чувствую тело, идущее в землю, в католической – душу, летящую в небо.

Стихи и проза:

В прозе мне слишком многое кажется лишним, в стихе (настоящем) все необходимо. При моем тяготении к аскетизму прозаического слова, у меня, в конце концов, может оказаться остов.

В стихе – некая природная мера плоти: меньше нельзя.

Две любимые вещи в мире: песня – и формула. (То есть, пометка в 1921 г., стихия – и победа над ней!)

Я не стою ни за одну свою земную примету, то есть: в слове «земные приметы» я «земные» (вещественность) уступаю, примету (смысл) – нет.

Я не стою ни за одну свою земную примету в отдельности, как ни за один свой отдельный стих и час, – важна совокупность.

[56] Предыдущий отрывок о несуществующих на русском языке словах – пропущен. «Lâcheté», напр<имер>, смесь трусости и низости, не одна трусость (примеч. М. Цветаевой).

Я не стою даже за совокупность своих земных примет, я стою только за право их на существование и за правду – своего.

Гениальный совет С. (сына художника). Как-то зимой я жаловалась (смеясь, конечно!), что у меня совсем нет времени писать. – «До пяти служба, потом топка, потом стирка, потом купанье, потом укладыванье…»

– Пишите ночью!

В этом было: презренье к моему телу, доверие к моему духу, высокая беспощадность, делавшая честь и С. и мне. Высокая дань художника – художнику.

Влияние коненковского Стеньки Разина на умы. Солдат, проходя мимо Храма Спасителя, другому солдату:

– Его бы раскрасить!

На унылом заборе где-то вкривь от Храма Христа Спасителя робкая надпись: «Исправляю почерк».

Это почему-то – безнадежностью своей! – напоминает мне мою распродажу (чтобы уехать на юг).

Эпиграф к моей распродаже:

У Катеньки резвушки
Все сломаны игрушки:
Собачки без носов,
Барашки без рогов.
От чайного прибора
Наверно, очень скоро
Не будет ничего…

Да ничего и нету!

Поломаны, для примера: швейная машина, качалка, диван, два кресла, Алины два детских стульчика, туалет… У мраморного умывальника не хватает бока, примус не горит, термос не хранит, от лампы-молнии – одни молнии, граммофон без винта, этажерки не стоят, чайные сервизы без чашек, чашки без ручек, ручки без ножек…

А рояль глухой на обе педали! А шарманка красного дерева – впрочем, никогда не игравшая! (В первую секунду обмолвилась было двумя тактами «Schlittschuhläufer»[57] – и замолчала, то есть зарычала так, что мы замолчали!) А три беличьих клетки – без белок и без дверок! (Запах остался.) А детская ванна с свороченным краном и продавленным боком! А большая цинковая, зазеленевшая как затон, безнадежная как гроб! А Наполеоновские гравюры: граненые стекла на честном слове бумажных окантовок, ежесекундно грозящие смертью! А мясорубка, а ролики, а коньки!

Ломали, главным образом, Алины няньки и Сережины юнкера. И те и другие по молодости, горячности: жару сердца и рук.

Нянькам надоело сидеть с ребенком, и они крутили граммофон, юнкерам надоело твердить устав – и они крутили машинку.

Но не юнкера и не няньки, как сейчас – не большевики и не «жильцы». Говорю: судьба. Вещь, оскорбленная легкомысленным отношением, мстит: разлагается.

Вот история моего «быта».

Плотогоны! – Слово из моего детства! Ока, поздняя осень, стриженые луга, в колеях последние цветочки – розовые, мама и папа на Урале (за мрамором для музея) – сушеные яб-

[57] «Конькобежцев» (*нем*.).

локи – гувернантка говорит, что ей ночью крысы отъели ноги – плотогоны придут и убьют…

По 30-му купону карточки широкого потребления выдаются гробы, и Марьюшка, старая прислуга Сонечки Голлидэй, недавно испрашивала у своей хозяйки разрешение водрузить таковой на антресоли: «а то – неровен час…»

Но бедную старуху ждало жестокое испытание: розовых (девичьих!) не было, и придется ей, восемьдесят лет подряд безупречно девствовавшей, упокоиться в мужеском голубом.

Карусель:

В первый раз в жизни я каталась на карусели одиннадцати лет, в Лозанне, – второй третьего дня, на Воробьевых горах, в Духов день, с шестилетней Алей. Между этими двумя каруселями – жизнь.

Карусель! – Волшебство! Карусель! – Блаженство! Первое небо из тех семи! Перегруженное звездами, заряженное звонами, первое бедное простонародное детское небо земли!

Семь вершков от земли только – но уж нога не стоит! Уж возврата нет! Вот это чувство безвозвратности, обреченности на полет, вступления в круг –

Планетарность Карусели! Сферическая музыка ее гудящего столба! Не земля вокруг своей оси, а небо – вокруг своей! Источник звука скрыт. Сев – ничего не видишь. В карусель попадаешь как в смерч.

Геральдические львы и апокалипсические кони, не призраки ли вы зверей, коими Вакх наводнил свой корабль?

Хлыстовское радение – круговая порука планет – Мемнонова колонна на беззакатном восходе… Карусель!

Обожаю простонародье: в полях, на ярмарках, под хоругвями, везде на просторе и в веселье, – и не зрительно: за красные юбки баб! – нет, любовно люблю, всей великой верой в человеческое добро. Здесь у меня, поистине, чувство содружества.

Вместе идем, в лад.

Обожаю богатых. Богатство – нимб. Кроме того, от них никогда ничего не ждешь хорошего, как от царей, поэтому просто-разумное слово на их устах – откровение, просто-человеческое чувство – героизм. Богатство всё утысячеряет (резонанс нуля!). Думал, мешок с деньгами, нет – человек.

Кроме того, богатство дает самосознание и спокойствие («все, что я сделаю – хорошо!») – как дарование, поэтому с богатыми я на своем уровне. С другими мне слишком «униженно».

Кроме того, клянусь и утверждаю, богатые добры (так как им это ничего не стоит) и красивы (так как хорошо одеваются).

Если нельзя быть ни человеком, ни красавцем, ни знатным, надо быть богатым.

Таинственное исчезновение фотографа на Тверской, долго и упорно снимавшего (бесплатно) всех ответственных советских работников.

Недавно, в Кунцеве, неожиданно крещусь на дуб. Очевидно, источник молитвы не страх, а восторг.

На Смоленском хлеб сейчас 60 р<ублей> фунт, и дают только по 2 ф<унта>. Того, кто хитростью покупает больше – бьют.

Я неистощимый источник ересей. Не зная ни одной, исповедую их все. Может быть и творю.

Нужно писать только те книги, от отсутствия которых страдаешь. Короче: свои настольные.

Самое ценное в стихах и в жизни – то, что сорвалось.

Простонародье никогда не заблудится в городе. Звериное и дикарское чувство места.

Сейчас все кончается, потому что ничто не чинится: вещи, как люди, и люди, как любовь.

(Чинятся: вещи – ремесленниками, люди – врачами, ну а любовь чем? Рублями, пожалуй: подарками, поездками, премьерами. Вместе слушать Скрябина. Вместе всходить на Везувий.

Мало ведь Тристанов и Изольд!)

Тристан и Изольда: любовь в себе. Вне горячителя зависти, ревности: глаз. Вне резонатора порицаний, одобрений: толков. Вне глаз и молвы. Их никто не видел и о них никто не слышал. Они жили в лесу. Волк и волчица. Тристан и Изольда. У них ничего не было. На них ничего не было. Под ними

ничего не было. Над ними ничего не было. За ними – ничего, перед ними – Ничто. Ни завтра, ни вчера, ни года, ни часа. Время стояло. Мир назывался лес. Лес назывался куст, куст назывался лист, лист назывался ты. Ты называлось я. Небытие в пустоте. Фон – как отсутствие, и отсутствие – как фон.

И – любили.

Все мои жалобы на девятнадцатый год (нет сахара, нет хлеба, нет дров, нет денег) – исключительно из вежливости: чтобы мне, у которой ничего нет, не обидеть тех, у кого все есть.

И все жалобы, в моем присутствии, на девятнадцатый год – других («Россия погибла», «Что сделали с русским языком» и пр.) – исключительно из вежливости: чтобы им, у которых ничего не отнято, не обидеть меня, у которой отнято – всё.

Боязнь пространства и боязнь толпы. В основании обеих страх потери. Потери себя через отсутствие людей (пространство) и наличность их (толпа). Можно ли страдать обеими одновременно?

Думаю, что боязнь толпы можно победить исключительно самоутверждением, в девятнадцатом году, напр<имер>, выкриком: «Долой большевиков!»

Чтоб тебя отметили – и разорвали.

(NB! Боязнь толпы – боязнь смерти через удушение. Когда рвут – не душат.)

Высокая мера. Мерить высокой мерой. Так и Бог делает. Свысока мерить и высокий мерой. Нечто вроде очень редкого

решета: маленькие мерзости, как и маленькие добродетели – проскакивают. Куда? – Dans le néant.[58] Высокомерие, это полное отсутствие мелочности. Посему – очень выгодное свойство… для других.

О коммунисте:

Вчера, у моей приятельницы:

– Ведь Вы не бреетесь, – сказал коммунист, – зачем Вам пудра?

Коммунист из старых, помирает с голоду. Такой чудесный певучий голос.

Кто-то в комнате: «В Эрмитаже – невероятная программа!» Коммунист, певуче: «А что такое Эрмита-аж?»

Ах, сила крови! Вспоминаю, что моя мать до конца жизни писала: Thor, Rath,[59] Theodor, – из немецкого патриотизма старины, хотя была русская, и совсем не от старости, потому что умерла 36-ти лет.

– Я с моим ѣ!

Вчера в гостях (именинный пирог, пенье, огарок свечи, рассказ о том, как воюют красные) – вдруг, разглядывая ноты:

Beethoven – Busslied,

Puccini – то-то

[58] В небытие (*фр*.).

[59] Thor – ворота, Rath – совет (*нем*.).

Marie-Antoinette – «Si tu connais dans ton village…»[60]

Marie-Antoinette! Вы написали музыку к стихам Флориана, а Вас посадили в крепость и отрубили Вам голову. И Вашу музыку будут петь другие – счастливые – вечно!

Никогда, никогда, – ни в лукавой полумаске, в боскетах Версаля, об руку с очаровательным mauvais sujet d'Artois,[61] ни Королевой Франции, ни Королевой бала, ни молочницей в Трианоне, ни мученицей в Тампле – ни на тачке, наконец, – Вы так не пронзали мне сердца, как:

Marie-Antoinette: «Si tu connais dans ton village…»
(Paroles de Florian)

Людовик XVI должен был бы жениться на Марии-Луизе («Fraîche comme une rose»[62] и дуре); Наполеон – на Марии-Антуанэтте (просто Розе!).

Авантюрист, выигравший Авантюру, – и последний кристалл Рода и Крови.

И Мария-Антуанэтта, как аристократка, следовательно: безукоризненная в каждом помысле, не бросила бы его, как собаку, там, на скале.

Москва, 1919

---

[60] Мария Антуанетта – «знаешь ли ты, в твоей деревне…» (фр.).
[61] Шалопаем д'Артуа (фр.).
[62] «Свежей, как роза» (фр.).

ЧЕРДАЧНОЕ
(Из московских записей 1919/1920 г.)

Пишу на своем чердаке – кажется 10 ноября – с тех пор, как все живут по-новому, не знаю чисел.

С марта месяца ничего не знаю о С<ереже>, в последний раз видела его 18-го января 1918 года, как и где – когда-нибудь скажу, сейчас духу не хватает.

Живу с Алей и Ириной (Але 6 л<ет>, Ирине 2 г<ода> 7 м<есяцев» в Борисоглебском переулке, против двух деревьев, в чердачной комнате, бывшей Сережиной. Муки нет, хлеба нет, под письменным столом фунтов 12 картофеля, остаток от пуда, «одолженного» соседями – весь запас! – Анархист Шарль унес Сережины золотые часы «élève de Bréguet» – ходила к нему сто раз, сначала обещал вернуть их, потом сказал, что покупателя на часы нашел, но потерял от них ключик, потом, что ключик на Сухаревой подыскал, но покупателя утерял, потом, что, боясь обыска, отдал их кому-то на хранение, потом, что их – у того, кому он их отдал – украли, но что он богатый господин и за такой мелочью не постоит, потом, обнаглев, начал кричать, что он за чужие вещи не отвечает. – В итоге: ни часов, ни денег. (Сейчас такие часы 12 т<ысяч>, т. е. $1^1/_2$ пуда муки.) То же с детскими весами. (Шарль же.)

Живу даровыми обедами (детскими). Жена сапожника Гранского – худая, темноглазая, с красивым страдальческим лицом – мать пятерых детей – недавно прислала мне через свою старшую девочку карточку на обед (одна из ее девочек уехала в колонию) и «пышечку» для Али. Г<оспо>жа Г<ольд>ман, соседка снизу, от времени до времени присылает детям супу и сегодня насильно «одолжила» мне третью тысячу. У самой трое детей. Мала, нежна, затерта жизнью:

нянькой, детьми, властным мужем, непреложным, как ход светил, распорядком обедов и ужинов. (У нас в доме – еда всегда комета!) Помогает мне, кажется, тайком от мужа, которого, как еврея и удачника, я – у которой все в доме, кроме души, замерзло, и ничего в доме, кроме книг, не уцелело, – естественно не могу не раздражать.

Помогают мне еще, изредка, вспоминая о моем существовании – и не виню, ибо знакомы без году неделя: актриса З<вягин>цева, потому что любит стихи, и ее муж, потому что любит жену. Принесли картофеля, муж несколько раз выламывал балки на чердаке и пилил.

Еще Р. С. Т<умар>кин, брат г<оспо>жи Ц<ет>-лин, у которой я бывала на литературных вечерах. Дает спички, хлеб. Добр, участлив.

– И это все. –

Бальмонт рад бы, да сам нищий. (Зайдешь, кормит и поит всегда.) Его слова: «я все время чувствую угрызения совести, чувствую, что должен помочь» – уже помощь. Люди не знают, как я безмерно – ценю слова! (Лучше денег, ибо могу платить той же монетой!)

Мой день: встаю – верхнее окно еле сереет – холод – лужи – пыль от пилы – ведра – кувшины – тряпки – везде детские платья и рубашки. Пилю. Топлю. Мою в ледяной воде картошку, которую варю в самоваре. (Долго варила в нем похлебку, но однажды засорила пшеном так, что потом месяцами приходилось брать воду сверху, снимая крышку, ложкой, – самовар старинный, кран витиеватый, не вывинчивающийся, ни шпилькам, ни гвоздям не поддавался. Наконец кто-то – как-то – выдул.) Самовар ставлю горячими углями, которые выбираю тут же из печки. Хожу и сплю в одном и том же коричневом, однажды безумно-севшем, бумазейном платье, шитом весной 17-го года за глаза, в Александрове. Все

прожжено от падающих углей и папирос. Рукава, когда-то на резинке, скручены в трубу и заколоты булавкой.

Потом уборка. – «Аля, вынеси окаренок!» Два слова об окаренке – он их заслуживает. Это главное действующее лицо в нашей жизни. В окаренке стоит самовар, ибо, когда кипит с картошкой, заливает все вокруг. В окаренок сливаются все помои. Окаренок днем выносится, а по ночам выплескивается мною во двор. Без окаренка – не жить. Угли – мука от пилы-лужи… И упорное желание, чтобы пол был чистым! – За водой к Г<ольдма>нам, с черного хода: боюсь наткнуться на мужа. Прихожу счастливая: целое ведро воды и жестянка! (И ведро и жестянка – чужие, мое все украдено.) Потом стирка, мытье посуды: полоскательница и кустарный кувшинчик без ручки «для детского сада», короче: «Аля, готовь для мытья детский сад!» – чистка медной солдатской махотки и бидона для Пречистенки (усиленное питание, по протекции той же г<оспо>жи Г<ольд>ман) – корзиночка, где сумка с обеденными карточками – муфта – варежки – ключ от черного хода на шее – иду. Часы не ходят. Не знаю времени. И, набравшись духу, к прохожему:

«Извините, не можете ли вы мне сказать, сколько сейчас, приблизительно, времени?» Если 2 часа – от сердца отлегло. (Кстати, как настоящее? Отлегает? Неблагозвучно.)

Маршрут: в детский сад (Молчановка, 34) занести посуду, – Старо-Конюшенным на Пречистенку (за усиленным), оттуда в Пражскую столовую (на карточку от сапожников), из Пражской (советской) к бывшему Генералову – не дают ли хлеб – оттуда опять в детский сад, за обедом, – оттуда – по черной лестнице, обвешанная кувшинами, судками и жестянками – ни пальца свободного! и еще ужас: не вывалилась ли из корзиночки сумка с карточками?! – по черной лестнице – домой. – Сразу к печке. Угли еще тлеют. Раздуваю. Разогреваю. Все обеды – в одну кастрюльку: суп вроде каши.

Едим. (Если Аля была со мной, первым делом отвязываю Ирину от стула. Стала привязывать ее с тех пор, как она, однажды, в наше с Алей отсутствие, съела из шкафа полкочна сырой капусты.) Кормлю и укладываю Ирину. Спит на синем кресле. Есть кровать, но в дверь не проходит. – Кипячу кофе. Пью. Курю. Пишу. Аля пишет мне письмо или читает. Часа два тишина. Потом Ирина просыпается. Разогреваем остатки месива. Вылавливаю с помощью Али из самовара оставшийся – застрявший в глубине – картофель. Укладываем – или Аля или я – Ирину. Потом Аля спать идет.

В 10 часов день кончен. Иногда пилю и рублю на завтра. В 11 часов или в 12 часов я тоже в постель. Счастлива лампочкой у самой подушки, тишиной, тетрадкой, папиросой, иногда – хлебом.

Пишу скверно, тороплюсь. Не записала ни ascensions[63] на чердак – лестницы нету (спалили) – подтягиваюсь на веревке – за бревнами, ни постоянных ожогов от углей, которые (нетерпение? ожесточение?) хватаю прямо руками, ни беготни по комиссионным магазинам (не продалось ли?) и кооперативам (не выдают ли?).

Не записала самого главного: веселья, остроты мысли, взрывов радости при малейшей удаче, страстной нацеленности всего существа – все стены исчерканы строчками стихов и NB! для записной книжки. Не записала путешествий по ночам в страшный ледяной низ, – в бывшую Алину детскую – за какой-нибудь книгой, которую вдруг безумно захотелось, не записала постоянной нашей с Алей настороженной надежды: «Не стучат ли? Кажется, стучат!» (Звонок не звонит с начала революции, вместо звонка – молоток. Мы живем наверху, за семью дверьми и слышим все: каждый взвизг чужой пилы, каждый взмах чужого топора, каждое хлопанье

---

[63] Подъемник (*фр.*)

чужой двери, каждый шум во дворе, – все, кроме стука в нашу дверь!) И – вдруг – кажется стучат! – или Аля, накинув синюю шубку, шитую, когда ей было два года, или я, не накинув ничего – вниз, ощупью, вскачь, в полной темноте, сначала мимо лестницы без перил (спалили), потом по этой лестнице – к цепочке парадной двери. (Кстати, можно войти и без нашей помощи, только не все знают.)

Не записала своей вечной, одной и той же – теми же словами! – молитвы перед сном.

Но жизнь души – Алиной и моей – вырастет из моих стихов – пьес – ее тетрадок.

Я хотела записать только день.

Мы с Алей:

Аля:

– Марина! Сколько людей с такими прекрасными фамилиями я не знала! Например: Джунковский.

Я: – Это бывший московский генерал-губернатор (?), Алечка.

Аля: – А-а! Я знаю – губернатор. Это в Дон-Кихоте – губернатор!

(Бедный Д<жунков>ский!)

Я рассказываю:

– Понимаешь, такая старая, старинная, совсем не смешная. Иссохший цветок, – роза! Огненные глаза, гордая посадка головы, бывшая жестокая красавица. И все осталось, – только вот-вот рассыплется… Розовое платье, пышное и страшное, потому что ей 70 лет, розовый парадный чепец, крохотные туфельки. Под вострым каблучком тугая атласная подушка – розовая же – тяжелый, плотный, скрипучий атлас… И вот, под удар полночи – явление жениха ее внучки.

Он немножко опоздал. Он элегантен, галантен, строен, – камзол, шпага…

Аля, перебивая:

– О, Марина! – Смерть или Казанова!

(Последнего знает по моим пьесам «Приключение» и «Феникс».)

– Алечка, какое должно быть последнее слово в «Бабушке»?[64] Ее последнее слово, – вздох, вернее! – с которым она умирает?

– Конечно – Любовь!

– Верно, верно, совершенно верно, только я подумала: Амур.

Объясняю ей понятие и воплощение:

– Любовь – понятие, Амур – воплощение. Понятие – общее, круглое, воплощение – острие, вверх! все в одной точке. Понимаешь?

– О, Марина, я поняла!

– Тогда скажи мне пример.

– Я боюсь, что это будет неверно. Оба слишком воздушны.

– Ничего, ничего, говори. Если будет неверно, скажу.

– Музыка – понятие, голос – воплощение. (Пауза.) И еще: доблесть – понятие, подвиг – воплощение. – Марина, как странно! Подвиг – понятие, герой – воплощение.

– Аля! Какая прекрасная вещь – сон!

– Да, Марина, – и еще: бал!

[64] Пьеса, которую я не дописала и потеряла (примеч. М. Цветаевой)

– Аля! Моя мать всегда мечтала умереть внезапно: идти по улице и, вдруг, со строящегося дома – камень на голову! – готово.

Аля, чуть позабавленно:

– Нет, Марина, мне это не особенно нравится, камень… Вот если бы – все здание!

Аля, перед сном:

– Марина! Желаю вам всего лучшего, что есть на свете. Может быть: что еще есть на свете…

Если эта зима пройдет, я действительно буду fort comme la mort[65] – или просто morte[66] – без fort[67] – с e-muet[68] на конце.

Гастрономические магазины сейчас похожи на витрины парикмахерских: все эти сыры – желе – пасхи ничуть не живее восковых кукол.

Та же легкая жуть.

О, «Wahrheit und Dichtung»![69] И останавливаюсь, ибо в этом возгласе столько же восторга, сколько неудовлетворенности. Гёте захотел одновременно дать историю своей жизни и своего развития, и это у него не слилось. Целые места, точно вставленные – «hier gedenke ich mit Ehrfurcht eines gewissen

---

[65] Сильна как смерть (*фр*.).
[66] Мертвая (*фр*.).
[67] Сильный (*фр*.).
[68] Окончание женского рода.
[69] «Поэзия и правда» (*нем*.).

X-Y-Z»[70] – И так десятки страниц подряд. Если бы он вплел этих «treffliche Gelehrte»[71] в свою жизнь, заставил бы их входить в комнату, двигаться, говорить, не получалось бы местами такой схематичности (нарочитости): вот человек вздумал отблагодарить всех, кто способствовал его развитию – и перечисляет. Не скучно, – все значительно, но сам Гёте как-то уходит, уже не видишь его черных глаз…

Но зато – о Господи! – прогулки, мальчиком, по Франкфурту, – дружба с маленьким французом – история с художником и мышью – театр – отношения с отцом – Гретхен («Nicht küssen, s'ist was so gemeines, aber lieben, wenn's möglich ist!»[72]) – их ночные встречи в погребе – Гёте в Лейпциге – уроки танцев – Sesenheim – Фредерика – луна…

О, когда я читала эту сцену с переодеванием, у меня сердце задрожало оттого, что это – Фредерика, а не я!

Уют этого старого полукрестьянского дома – пастор – игры в фанты – чтения вслух…

Я сегодня из-за всего этого никак не могла решиться встать с постели: так не хотелось жить!

О, как бы я воспитала Алю в XVIII веке! Какие туфли с пряжками. Какая фамильная библия с застежками! И какой танцмейстер!

Сейчас, наверное, из-за топора и пилы, куда меньше enfants d'amour![73] Впрочем, пилит и рубит только интеллигенция (мужики не в счет! им все нипочем!), а интеллигенция и раньше никогда не блистала ни enfants, ни amour.

---

[70] Здесь: я с благоговением вспоминаю некоего X-Y-Z (*нем*.).
[71] Превосходных ученых (*нем*.).
[72] «Не целоваться – это так пошло, но любить, если возможно!» (*нем*.).
[73] Детей любви (*фр*.).

Недавно на Смоленском: дородная простонародная девка – роскошная шаль крест-накрест, походка бедрами – и маленькая сухонькая приживалка – язва! Сухонький перст впился в высокую грудь девки. Заискивающий шепот: «Что это у вас – свининка?» И девка, еще глубже запахиваясь в шаль, высокомерно: «Триста восемьдесят».

А сегодня, например, я целый день ела, а могла бы целый день писать. Я совсем не хочу умереть с голоду в 19-ом году, но еще меньше хочу сделаться свиньей.

От природы не терплю запасов. Или съем, или отдам. А можно, чтобы не было страшно, вообразить себе так: хлеб стоит не 200 руб<лей>, а как прежде 2 ко-п<ейки>, но у меня этих двух копеек нет – и никогда не будет.

И царь по-прежнему в Царском Селе – только я никогда не поеду в Царское Село, а он – в Москву.

Господи! Сколько сейчас в России Ноздревых (кто кого и как не ошельмовывает! кто чего на что не выменивает!) – Коробочек («а почем сейчас в городе мертвые души?», «а почем сейчас на рынке дамские манекены?»: я, например) – Маниловых («Храм Дружбы» – «Дом Счастливой Матери») – Чичиковых (природный спекулянт!).

А Гоголя нет. Лучше бы наоборот.

И так же редки – как его? этот с армянской фамилией, -идзе или -адзе, из II части, такой ирреальный, что я даже имени его не запомнила!

Есть рядом с нашей подлой жизнью – другая жизнь: торжественная, нерушимая, непреложная: жизнь Церкви. Те же слова, те же движения, – все, как столетия назад. Вне времени, то есть вне измены.

Мы слишком мало об этом помним.

«Уже не смеется».

(Надпись на моем кресте.)

Я восприняла 19-ый год несколько преувеличенно, – так, как его воспримут люди через сто лет: ни пылинки муки, ни солинки соли (золинок и соринок хоть отбавляй!) – ни крупинки, ни солинки, ни обмылка! – сама чищу трубы, сапоги в два раза больше ноги, – так какой-нибудь романист, с воображением в ущерб вкусу, будет описывать 19-ый год.

Моя комната. – Ведь я когда-нибудь из нее уеду (?). Или я уже никогда, ни-ког-да ничего не увижу другого, раскрыв глаза, чем: высокое окно в потолке – окаренок на полу – по всем стульям тряпки – топор – утюг (утюгом колочу по топору) – г<ольд>мановская пила…

Люди, когда приходят, только меня растравляют: «Так нельзя жить. Это ужасно. Вам нужно все продать и переехать».

Продать! – Легко сказать! – Все мои вещи, когда я их покупала, мне слишком нравились, – поэтому их никто не покупает.

19-ый год, в быту, меня ничему не научил: ни бережению, ни воздержанию.

Хлеб я так же легко беру – ем – отдаю, как если бы он стоил 2 к<опей>ки (сейчас 200 рублей). А кофе и чай я всегда пила без сахара.

Есть ли сейчас в России – Розанов умер – настоящий созерцатель и наблюдатель, который мог бы написать настоящую книгу о голоде: человек, который хочет есть – человек, который хочет курить – человек, которому холодно – о человеке, у которого есть и который не дает, о человеке, у которого нет и который дает, о прежних щедрых – скаредных, о прежних скупых – щедрых, и, наконец, обо мне: поэте и женщине, одной, одной, одной – как дуб – как волк – как Бог – среди всяческих чум Москвы 19-го года.

Я бы написала – если бы не завиток романтика во мне – не моя близорукость – не вся моя особенность, мешающие мне иногда видеть вещи такими, какие они есть.

– О, если бы я была богата! –

Милый 19-ый год, это ты научил меня этому воплю! Раньше, когда у всех все было, я и то ухитрялась давать, а сейчас, когда ни у кого ничего нет, я ничего не могу дать, кроме души-улыбки – иногда полена дров (от легкомыслия!) – а этого мало.

О, какое поле деятельности, для меня сейчас, для моей ненасытности на любовь. Ведь на эту удочку идут все – даже самые сложные! – даже я! Я, например, сейчас определенно люблю только тех, кто мне дает – обещает и не дает – все равно! – хотя бы минуточку – искренно (а может быть и не искренно, – наплевать!) хотел бы дать.

Фраза, поэтому и весь смысл, по причуде пера и сердца, могла бы пойти иначе, и тоже была бы правда.

Раньше, когда у всех все было, я все-таки ухитрялась давать. Теперь, когда у меня ничего нет, я все-таки ухитряюсь давать.

– Хорошо?

Даю я, как все делаю, из какого-то душевного авантюризма – ради улыбки – своей и чужой.

Что мне нравится в авантюризме? – Слово.

Бальмонт – в женском шотландском крест-накрест платке – в постели – безумный холод, пар колом – рядом блюдце с картошкой, жаренной на кофейной гуще.

– О, это будет позорная страница в истории Москвы! Я не говорю о себе, как о поэте, я говорю о себе, как о труженике. Я перевел Шелли, Кальдерона, Эдгара По… Не сидел ли я с 19-ти лет над словарями, вместо того, чтобы гулять и влюбляться?! – Ведь я в буквальном смысле – голодаю. Дальше остается только голодная смерть! Глупцы думают, что голод – это тело. Нет, голод – душа, тотчас же всей тяжестью падает на душу. Я угнетен, я в тоске, я не могу писать!

Я прошу у него курить. Дает мне трубку и велит мне не развлекаться, пока курю.

– Эта трубка требует большого внимания к себе, поэтому советую вам не разговаривать, ибо спичек в доме нет.

Курю, т. е. тяну изо всей силы, трубка как закупоренная – дыму $^{1}/_{10}$ доля глоточка – от страха, что потухнет, не только не говорю, но и не думаю – и – через минуту, облегченно:

– Спасибо, накурилась!

Москва, зима 1919–1920

О ГЕРМАНИИ
(Выдержки из дневника 1919 г.)

Моя страсть, моя родина, колыбель моей души! Крепость духа, которую принято считать тюрьмой для тел!

Местечко Loschwitz под Дрезденом, мне шестнадцать лет, в семье пастора – курю, стриженые волосы, пятивершковые каблуки (Luftkurort,[74] система д<ок-то>ра Ламана, – все местечко в сандалиях!) – хожу на свидание со статуей кентавра в лесу, не отличаю свеклы от моркови (в семье пастора!) – всех оттолкновений не перечислишь!

Что ж – отталкивала? Нет, любили, нет, терпели, нет, давали быть. Было мне там когда-либо кем-либо сделано замечание? Хоть косвенный взгляд один? Хоть умысел?

Это страна свободы. Утверждаю. Страна высшего считания качества с качеством, количества с качеством, личности с личностью, безличности с личностью. Страна, где закон (общежития) не только считается с исключением: благоговеет перед ним. Потому что в каждом конторщике дремлет поэт. Потому что в каждом портном просыпается скрипач. Потому что в каждом пивном льве по зову родины проснется лев настоящий.

Помню, в раннем детстве, на Ривьере, умирающий от туберкулеза восемнадцатилетний немец Рёвер. До восемнадцати лет сидел в Берлине, сначала в школе, потом в конторе. Затхлый, потный, скучный.

Помню, по вечерам, привлеченный своей германской музыкой и моей русской матерью – мать не женски владела роялем! – под своего священного Баха, в темнеющей итальянской

---

[74] Климатический курорт (*нем.*).

комнате, где окна как двери – он учил нас с Асей[75] бессмертию души.

Кусочек бумаги над керосиновой лампой: бумага съеживается, истлевает, рука придерживающая – отпускает и… – «Die Seele fliegt!»[76]

Улетел кусочек бумаги! В потолок улетел, который, конечно, раздается, чтобы пропустить душу в небо!

У меня был альбом. Неловко тридцатилетней женщине, матери двух детей, заводить альбом, вот мать и завела нам с Асей – наши. Писало все чахоточное генуэзское побережье. И вот среди Уланда, Теннисcона и Некрасова следующая истина, странная под пером германца:

«Tout passe, tout casse, tout lasse[77]… – с весьма германской – тщательными, чуть ли не в вершок буквами – припиской: – Excepté la satisfaction d'avoir fait son devoir».[78]

Немец Рейнгардт Рёвер, образцовый конторщик и не менее образцовый умирающий (градусник, тиокол, уход домой при закате) – немец Рейнгардт Рёвер умер на девятнадцатом году жизни, в Нерви, во время Карнавала.

Его уже перевели на частную квартиру (в пансионе нельзя умирать), в верхнюю комнату высокого мрачного дома. Мы с Асей приносили ему первые фиалки, мать – всю музыку своего необычайного существа.

---

75 Сестрой (примеч. М. Цветаевой).
76 «Душа улетает!» (*нем.*).
77 «Все проходит, все рушится, все надоедает…» (*фр.*).
78 «Кроме удовлетворения от выполнения собственного долга» (*фр.*).

– Wenn Sie einen ansehen, gnädige Frau, klingt's so recht wie Musik![79]

И вот, разлетаемся однажды с Асей, – фиалки, confetti, полный рот новостей… Дверь настежь.

– Herr Röver![80]

И испуганный шип сиделки:

– Zitto, zitto, e morto il Signore![81]

Раскрытый рот, через который вылетела душа, хлопотливые крылья косынки над прахом.

Подошли, положили цветы, поцеловали («Только не целуйте! На каждый кубический миллиметр воздуха – миллиарды миазмов», – так нас учили все, не считаясь с тем, что в восемь лет еще не знают ни кубов, ни миллиметров, ни миллиардов, ни миазмов – ничего, кроме поцелуя и воздуха!)

Поцеловали, постояли, пошли. На лестнице – винтовой и звонкой – стало страшно: Рёвер гонится!

Три дня подряд из окна его смертной комнаты вывешивались: матрас, подушка, простыни – в ожидании новых жильцов. Пожитки его (Mahlkasten,[82] градусник, несколько смен белья, настольный томик Ленау) были отправлены домой, в контору.

И ничего не осталось от немца Reinhardt'a Röver'a – «excepte'la satisfaction d'avoir fait son devoir».

От моего Рёвера до мирового Новалиса – один вздох. «Die Seele fliegt» – больше ведь не сказал и Новалис. Большего

[79] Когда Вы на кого-нибудь смотрите, милостивая госпожа, это звучит как музыка! (*нем.*)

[80] Господин Рёвер! (*нем.*).

[81] Тише, тише, синьор умер! (*ит.*).

[82] Коробка для съестного (*нем.*).

никто никогда не сказал. Здесь и Платон, и гр<аф> Аугуст фон Платен, здесь все и вся, и кроме нет ничего.

Так, из детской забавы и альбомной надписи, из двух слов: душа и долг –

Душа есть долг. Долг души – полет. Долг есть душа полета (лечу, потому что должен)… Словом, так или иначе: die Seele fliegt!

«Ausflug». Вы только вслушайтесь: вылет из… (города, комнаты, тела, родительный падеж). Ежевоскресный вылет ins Grüne,[83] ежечасный – ins Blaue.[84] Aether, heilige Luft![85]

Я, может быть, дикость скажу, но для меня Германия – продолженная Греция, древняя, юная. Германцы унаследовали. И, не зная греческого, ни из чьих рук, ни из чьих уст, кроме германских, того нектара, той амброзии не приму.

О мальчиках. Помню, в Германии – я еще была подростком – в маленьком местечке Weisser Hirsch,[86] под Дрезденом, куда отец нас с Асей послал учиться хозяйству у пастора, – один пятнадцатилетний, неприятно-дерзкий и неприятно-робкий, розовый мальчик как-то глядел мои книги. Видит «Zwischenden den Rassen»[87] Генриха Манна, с моей рукой начертанным эпиграфом:

> «Blonde enfant qui deviendra femme,
> Pauvre ange qui perdra son ciel».
>
> (Lamartine)[88]

[83] На природу (*нем.*).
[84] В синь, голубизну (*нем.*).
[85] Эфир, священный воздух! (*нем.*).
[86] Вайсер Хирш (Белый олень) (*нем.*).
[87] «Между расами» (*нем.*)
[88] «Светлая девочка, которая станет женщиной,
Бедный ангел, который покинет свое небо».
(Ламартин) (фр.).

– Ist’s wirklich Ihre Meinung?[89]

И моя реплика:

– Ja, wenn’s durch einen, wie Sie geschieht![90]

А Асю один другой мальчик, тоже розовый и белокурый, но уж сплошь-робкий и приятно-робкий, – маленький commis, умилительный тринадцатилетний Christian – торжественно вел за руку, как свою невесту. Он, может – даже наверное – не думал об этом, но этот жест, выработанный десятками поколений (приказчиков!) был у него в руке.

А другой – темноволосый и светлоглазый Hellmuth, которого мы, вместе с другими мальчиками (мы с Асей были «взрослые», «богатые» и «свободные», а они Schulbuben,[91] которых в 9 ч. гнали в постель) учили курить по ночам и угощали пирожными, и который на прощанье так весело написал Асе в альбом: «Die Erde ist rund und wir sind jung, – wir werden uns wiedersehen!»[92]

А лицеистик Володя, – такой другой, – но так же восторженно измерявший вышину наших каблуков – здесь, в святилище д<окто>ра Ламана, где и рождаются в сандалиях!

Hellmuth, Christian, лицеистик Володя! – кто из вас уцелел за 1914–1917 год!

Ах, сила крови! Вспоминаю, что мать до конца дней писала: Thor, Rath,[93] Theodor – из германского патриотизма

[89] Вы в самом деле так думаете? (*нем.*).
[90] Да, если это совершается благодаря такому, как вы! (*нем.*).
[91] Школяры (*нем.*).
[92] «Земля круглая, а мы молоды, – еще увидимся!» (*нем.*).
[93] Старое правописание, th. Теперь: Tor, Rat – ворота, совет (*нем.*)

старины, хотя была русская, и совсем не от старости, потому что умерла 34-х лет.

– Я с моим ять!

От матери я унаследовала Музыку, Романтизм и Германию Просто – Музыку. Всю себя.

Музыку я определенно чувствую Германией (как любовность – Францией, тоску – Россией). Есть такая страна – музыка, жители – германцы.

Персияночка Разина и Ундина. Обеих любили, обеих бросили. Смерть водою. Сон Разина (в моих стихах) и сон Рыцаря (у Lamotte-Fouqué и у Жуковского).

И оба: и Разин и Рыцарь должны были погибнуть от любимой, – только Персияночка приходит со всем коварством Нелюбящей и Персии – «за башмачком», а Ундина со всей преданностью Любящей и Германии – за поцелуем.

Treue[94] – как это звучит!

А французы из своей fidélité[95] сумели сделать только Fidéle (Фидельку!).

Есть у Гейне пророчество о нашей революции: «…und ich sage euch, es wird einmal ein Winter kommen, wo der ganze Schnee im Norden Blut sein wird…»[96]

---

[94] Преданность (*нем.*).

[95] Преданности (*фр.*).

[96] «…И я говорю вам – когда-нибудь наступит зима, И весь снег на севере превратится в кровь…» (*нем.*).

У Гейне, вообще, любопытно о России. О демократичности нации. О Петре – державном революционере (Венчаной Революции).

– Гейне! – Книгу, которую я бы написала. И – без архивов, вне роскоши личного проникновения, просто – с глазу на глаз с шестью томами ужаснейшего немецкого издания конца восьмидесятых годов. (Иллюстрированные стихи! И так как Гейне – часто о женщинах, – сплошные колбасы!)

Гейне всегда покроет всякое событие моей жизни, и не потому что я… (событие, жизнь) слабы: он – силен!

Столкнуться – и, не извинившись, разойтись – какая грубость в этом жесте! Вспоминаю Гейне, который, приехав в Париж, нарочно старался, чтобы его толкнули – чтобы только услышать извинение.

В Гейне Германия и Романия социарствуют. Только одного такого еще знаю – иной строй, иная тема души, иной масштабно в двуродинности своей Гейне – равного: Ромена Роллана.

Но Ромен Роллан, по слухам, галло-германец, Гейне – как все знают – еврей. И чудо объяснимо. Я бы хотела необъяснимого (настоящего) чуда: француз целиком и любит (чует) Германию, как германец, германец целиком и любит (чует) Францию, как француз. Я не о стилизациях говорю – легки, скучны о пробитых тупиках и раздвинутых границах рождения и крови. Об органическом (национальном) творении, не связанном с зоологией. Словом, чтобы галл создал новую Песнь о Нибелунгах, а германец – новую песнь о Роланде.

Это не «может» быть, это должно быть.

Die blinde Mathilde[97] – воспоминание детства.

Во Фрейбурге, в пансионе, к нам каждое воскресенье приходила женщина – die blinde Mathilde. Она ходила в синем сатиновом платье – лет сорок пять – полузакрытые голубые глаза – желтое лицо. Каждая девочка, по очереди, должна была писать ей письма и наклеивать, на свои деньги, марки. Когда письма кончались, она в благодарность садилась за рояль и пела.

Немецким девочкам: «Ich kenn ein Kätzlein wunderschön».[98]

Нам с Асей: «Der rothe Sarafan».[99]

Теперь вопрос: кому blinde Mathilde столько писала? Ответивший на вопрос напишет роман.

Как я любила – с тоской любила! до безумия любила! – Шварцвальд. Золотистые долины, гулкие, грозно-уютные леса – не говорю уже о деревне, с надписями, на харчевенных щитах: «Zum Adler», «Zum Löwen»[100] (Если бы у меня была харчевня, я бы ее назвала: «Zum Kukuck»[101]).

Никогда не забуду голоса, каким хозяин маленького Gasthaus «Zum Engel»[102] в маленьком Шварцвальде, указывая

---

[97] Слепая Матильда (*нем.*).

[98] «Я знаю одну прелестную кошечку» (*нем.*).

[99] «Красный сарафан» (*нем.*).

[100] «У орла», «У льва» (*нем.*).

[101] «У черта» (*нем.*).

[102] Гостиница «У ангела» (*нем.*).

на единственный в зале портрет императора Наполеона, восклицал:

– Das war ein Kerl![103]

И после явствующей полное удовлетворение паузы:

– Der hat's der Welt auf die Wand gemahlt, was wollen heisst![104]

После Эккермана могу читать только «Mémorial de Sainte-Héléne» Ласказа – и если я кому-нибудь завидовала в жизни – то только Эккерману и Ласказу.

Странно. Здесь апогей счастья, там апогей несчастья, и от обеих книг одинаковая грусть – точно Гёте был тоже сослан в Веймар!

О, Наполеон уже для Гёте (1829 г.) был *легендой*!

О, Наполеон уже для Наполеона (1815 г.) был *легендой*!

Гёте, умиляющийся над вывернутым наизнанку зеленым мундиром Наполеона.

В Гёте мне мешает «Farbenlehre»,[105] в Наполеоне – все его походы.

(Ревность)

Иду недавно по Кузнецкому и вдруг, на вывеске: «Farbenlehre». Я обмерла.

Подхожу ближе: «Fabergé».[106]

---

[103] Вот это был парень! (*нем.*).

[104] Он всему миру показал, что значит хотеть! (*нем.*).

[105] «Наука о цвете» (*нем.*).

Во мне много душ. Но главная моя душа – германская. Во мне много рек, но главная моя река – Рейн. Вид готических букв сразу ставит меня на башню: на самый высший зубец! (Не буквы, а зубцы. Zacken[107] – какое великолепие!) В германском гимне я растворяюсь.

Lieb Vaterland, magst ruhig sein.[108]

Вы только прислушайтесь к этому magst, – точно лев – львенку! Ведь это сам Рейн говорит: Vater Rhein![109] Как же тут не быть спокойным?!

Когда меня спрашивают: кто ваш любимый поэт, я захлебываюсь, потом сразу выбрасываю десяток германских имен. Мне, чтобы ответить сразу, надо десять ртов, чтобы хором, единовременно. Местничество поэтов в сердцах куда жесточе придворного. Каждый хочет быть первым, потому что есть первый, каждый хочет быть единым, потому что нет второго. Гейне ревнует меня к Платену, Платен к Гёльдерлину, Гёльдерлин к Гёте, только Гёте ни к кому не ревнует: Бог!

– Что вы любите в Германии?
– Гёте и Рейн.
– Ну, а современную Германию?
– Страстно.
– Как, несмотря на…
– Не только не смотря – не видя!

---

[106] «Фаберже» (*фр.*).
[107] Зубцы (*нем.*).
[108] «Люби отечество и можешь быть спокойным» (*нем.*).
[109] Рейн-батюшка! (*нем.*).

– Вы слепы?
– Зряча.
– Вы глухи?
– Абсолютный слух.
– Что же вы видите?
– Гётевский лоб над тысячелетьями.
– Что же вы слышите?
– Рокот Рейна сквозь тысячелетия.
– Но это вы о прошлом!
– О будущем!

Гёте и Рейн еще не свершились. Точнее сказать не могу.

Франция для меня легка, Россия – тяжела. Германия – по мне. Германия-древо, дуб, heilige Eiche[110] (Гёте! Зевес!). Германия – точная оболочка моего духа, Германия – моя плоть: ее реки (Ströme!) – мои руки, ее рощи (Heine!) – мои волосы, она вся моя, и я вся – ее!

Edelstein. – В Германии я бы любила бриллиант. (Edelstein, Edeltrucht, Edelmann, Edelwein, Edelmuth, Edelblut[111]…)

А еще: Leichtblut. Легкая кровь. Не легкомыслие, а легкокровие. А еще: Uebermuth: сверх-сила, избыток, через-край. Leichtblut и Uebermuth – как это меня дает, вне подозрительного «легкомыслия», вне тяжеловесного «избытка жизненных сил».

---

[110] Священный дуб (*нем*.).
[111] Драгоценный камень, дивный плод, аристократ, живительная влага, великодушие, благородная кровь… (*нем*.).

Leichtblut и Uebermuth – не все *ли* те боги? (Единственные.) И, главное, это ничего не исключает, ни жертвы, ни гибели, – только: *легкая* жертва, *летящая* гибель!

А Gottesjüngling![112] Не весь *ли* Феб встает в хороводе своих любимцев!

А Urkraft,[113] – не весь *ли* просыпающийся Хаос! Эта приставка: Ur! Urquelle, Urkunde, Urzeit, Umacht.[114]

Urahne, Ahne, Mutter und Kind
In dumpfer Stube beisammen sind…[115]

Ведь это вечность воет! Волком, в печной трубе. Каждая такая Urahne – Парка.

Drache и Rache[116] – и все «Nibelungenlied»![117]

«Германия – страна чудаков» – «Land der Sonderlinge». Так бы я назвала книгу, которую я бы о ней написала (по-немецки). Sonderlich. Wunderlich.[118] Sonder и Wunder в родстве. Больше: вне Sonder нет Wunder, вне Wunder – нет Sonder.

---

[112] Юный бог! (*нем.*).
[113] Первобытная сила (*нем.*).
[114] Первобытный источник, древний акт, древние времена, древняя ночь (*нем.*).
[115] Прародитель, предок, мать и дитя
В глухом пространстве объединены… (*нем.*).
[116] Дракон и Месть (*нем.*).
[117] «Песнь о Нибелунгах» (*нем.*)
[118] Особенно. Удивительно (*нем.*).

О, я их видела: Naturmenschen[119] с шевелюрами краснокожих, пасторов, помешавшихся на Дионисе, пасторш, помешавшихся на хиромантии, почтенных старушек, ежевечерне, после ужина, совещающихся с умершим «другом» (мужем) – и других старушек – Märchenfrau, сказочниц по призванию и ремеслу, ремесленниц сказки. Сказка, как ремесло, и как ремесло кормящее. – Оцените страну.

О, я их видела! Я их знаю! Другому кому-нибудь о здравомыслии и скуке немцев! Это страна сумасшедших, с ума сшедших на высшем разуме – духе.

«Немцы – мещане»… Нет, немцы – граждане: Bürger. От Burg: крепость. Немцы – крепостные Духа.

Мещанин, гражданин, bourgeois, citoyen,[120] у немцев же – неделимо – Bürger. Для выявления же понятий мещанства, буржуазности – приставка klein: klein-bürgerlich.[121]

Может ли не быть отдельного слова для основной черты нации? Задуматься.

Мое вечное schwärmen.[122] В Германии это в порядке вещей, в Германии я вся в порядке вещей, белая ворона среди белых. В Германии я рядовой, любой.

Притеснен в Германии только притесняющий, т. е. распространяющийся – внешне – за указанный ему предел, пространственный ли, временной ли. Так, например, играя в своей комнате на флейте позже 10 часов, я распространяюсь за предел временной, установленный общежитием, и этим

[119] Людей природы (*нем.*).
[120] Буржуа, гражданин (*фр.*).
[121] Маленький: мещанский (*нем.*).
[122] Увлекаться, мечтать (*нем.*).

тесню соседа, в самом точном смысле стесняю (укорачиваю) его сон. – Умей играть молча! –

Мне, до какой-то страсти равнодушной к внешнему, в Германии просторно.

В Германии меня прельщает упорядоченность (т. е. упрощенность) внешней жизни, – то, чего нет и никогда не было в России. Быт они скрутили в бараний рог – тем, что всецело ему подчинились.

In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister,
Und das Gesetz nuz kann uns Freiheit geben.[123]

Ни один немец не живет в этой жизни, но тело его исполнительно. Исполнительность немецких тел вы принимаете за рабство германских душ! Нет души свободней, души мятежней, души высокомерней! Они русским братья, но они мудрее (старше?) нас. Борьба с рыночной площади быта перенесена всецело на высоты духа. Им здесь ничего не нужно. Отсюда покорность. Ограничение себя здесь для безмерного владычества там. У них нет баррикад, но у них философские системы, взрывающие мир, и поэмы, его заново творящие.

Сумасшедший поэт Гёльдерлин тридцать лет подряд упражняется на немом клавесине. Духовидец Новалис до конца своих дней сидит за решеткой банка. Ни Гёльдерлин своей тюрьмой, ни Новалис своей – не тяготятся. Они ее не замечают. Они свободны.

Германия – тиски для тел и Елисейские поля – для душ. Мне, при моей безмерности, нужны тиски.

[123] В самоограничении познается лишь мастер,
И лишь закон дает нам свободу (*нем.*).

– Ну, а как с войной?

– А с войной – так: не Александр Блок – с Райнером Мария Рильке, а пулемет с пулеметом. Не Александр Скрябин – с Рихардом Вагнером, а дредноут с дредноутом. Был бы убит Блок – оплакивала бы Блока (лучшую Россию), был бы убит Рильке – оплакивала бы Рильке (лучшую Германию), и никакая победа, наша *ли*, их *ли*, не утешила бы.

В национальной войне я ничего не чувствую, в гражданской – всё.

– Ну, а как с немецкими зверствами?

– Но я говорила о качественной Германии, не о количественной. Качество, порождаемое количеством – вот зверство. Человек наедине не зверь (не от чего и не с кем). Зверство начинается с Каина и Авеля, Ромула и Рема, т. е. с цифры два. От сей роковой цифры первого общежития до числа двузначного и дальше – катастрофическое нарастание зверства, с каждой единицей утысячеряющегося. (Вспомните детство и школу.)

Короче: если «pour aimer il faud être deux»,[124] то тем более – pous tuer.[125] (Адам мог любить просто солнце, Каину, для убийства, нужен был Авель.)

Для любви достаточно одного, для убийства нужен второй.

Когда людей, скучивая, лишают лика, они делаются сначала стадом, потом сворой.

Погодите, будет час, так же будете оплакивать героическую Германию, как ныне героическую разоренную

[124] «Для любви надо иметь двоих» (*фр.*).

[125] Чтобы убить (*фр.*).

Францию. Нынче – Реймский собор, завтра – Кельнский: высоты мешают веку! Это не ненависть германцев к галлам, галлов к германцам, это ненависть квадрата – к шпилю, плоскости – к острию, горизонтали к вертикали.

Реймский собор для меня больше рана, чем для вас: в нем свершилась моя Иоанна! – и, оплакивая его, оплакиваю больше, чем вы: не Иоанну, не Францию, – век костров, смененный веком железобетона!

«Немцы подарили нам большевиков». «Немцы подарили нам пломбированного Ленина»…

В дипломатических подарках не знаток, но, если это даже правда, – руку на сердце положа – будь мы на их месте и додумайся мы, – мы бы этого не сделали?

Вагон, везущий Ленина, – не тот же ли троянский конь?

Политика – заведомо мерзость, нечего от нее, кроме них, и ждать. С этикой – в политику!

А германская ли мерзость, российская ли – не различаю. Да никто и не различит. Как Интернационал – зло, так и Злоинтернационал.

Vous avez pris l'Alsace et la Lorraine
Mais notre coeur, vous ne l'aurez jamais
Vous avez cru germaniser la plaine,
Mais malgré vous nous resterons français…[126]

---

[126] Вы захватили Эльзас и Лотарингию,
Но сердец наших не завоюете никогда.
Вы надеялись сделать нашу землю германской,
Вопреки вам она останется французской… (*фр.*).

Под это я росла. (Престарелые гувернантки-француженки.) И это во мне так же свято, как «Wacht am Rhein».[127] И это во мне не спорит. Великое согласие высот.

Страсть к каждой стране, как к единственной – вот мой Интернационал. Не третий, а вечный.

Москва, 1919

---

[127] «Стража на Рейне» (*нем*.).

СОДЕРЖАНИЕ

Марина Ивановна Цветаева

Дневниковая проза

16+

Ответственный редактор А. Иванова
Корректор *М. Глаголева*
Верстальщик *С. Мартынович*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru

Отпечатано в ООО «ПАК ХАУС»
142172, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Космонавтов, д.16